
Николай Рыжих
Необыкновенный заплыв





Николай Рыжих

Необыкновенный заплыв

Рассказы

Москва „Детская литература" 1989

ББК 84Р7
Р93

Художники
И. Годин, В. Кафанов

Рыжих Н. П.

Р93 Необыкновенный заплыв: Рассказы/Худож. И. Годин, В. Кафанов.— М.: Дет. лит., 1989.— 142 с.: ил.

ISBN 5—08—000470—3

В книгу входят рассказы о рыбаках, о разных событиях в их морской жизни, а также рассказы о зверях, птицах и рыбах, которые живут иа Камчатке и водятся в морях, её омывающих.

Р $\frac{4803010201-497}{М101(03)\text{-}89}$ 283—89

ББК 84Р7

ISBN 5—08—000470—3

Необыкновенный заплыв



НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ЗАПЛЫВ

Киты — милые и добрые животные. В море они занимаются своим делом и не вмешиваются в чужие. Ни на кого и ни на что не обращают внимания. Правда, иногда, раненный, кит подныривает под китобойное судно и пробивает днище спиной или гнёт винт. Так то ж раненный... А вообще это добродушные великаны.

Но однажды мне пришлось забыть, что такие вот они хорошие. Было так.

Рыбачили мы. Сайру ловили. Стоял август — самое золотое время в этих широтах. Ночью рыбка бралась хоро-

шо, утром сдали её на плавбазу — большой пароход-завод, где делают консервы, днём отдыхали и спали, читали книжки, играли в домино, рассказывали сказанные-пересказанные истории.

Проснулся я перед обедом. Вышел на палубу — на океане праздник: вода как искристо-синее стекло, в воздухе — ни ветерка, тепло. Даже чайки отдыхают: блаженно опустили крылья и втянули головы. «Именины у Нептуна, наверно»,— подумал я.

Смотрю, неподалёку от нас лежит в дрейфе ещё один сейнер, «Конда». На «Конде» у меня товарищ — матросом. Мы с ним земляки, в одной школе учились и даже за одной партой сидели.

Взял бинокль — на «Конде», на крыле мостика, стоит мой дружок и зазывно машет шахматной доской. Когда-то мы с ним любили в шахматы сражаться. Он, между прочим, сердился, когда проигрывал, даже за другую парту пересаживался.

— Товарищ капитан,— спросил я (капитан в это время на мостике стоял),— разрешите на «Конду»?

— Плавать умеешь?

— Как рыба.

— Добро.

Сбросил я тапочки, шаровары и с мостика — бултых. Водичка что парное молоко. Лёг на спину и, работая одними ногами, плещусь, плыву. Только долго блаженствовать не пришлось: вода вдруг стала холодной. Да такой, что терпеть невозможно, дыхание так и захлестнуло. Наверно, думаю, холодное глубинное течение наткнулось на подводную скалу и поднялось, а может, в этом месте граница холодного и тёплого течений.

Перевернулся на грудь и поплыл быстрее.

«Не свело бы судорогой ноги»,— мелькнула мысль. До «Конды» ещё далеко, возвращаться назад — неловко: засмеют.

А вода всё холоднее и холоднее. Жжёт грудь, живот, ледяным кольцом сдавливает шею. Руки и ноги онемели,

кончики пальцев уже ничего не чувствуют. И всё тело как резиновое. «Назад... Пусть думают что хотят». Поворачиваюсь — до нашего «Оймякона» ещё дальше. «Нет, только вперёд». Стараюсь изо всех сил. Кричу, машу рукой. Вода всё чаще заливает затылок.

Вдруг позади раздался сильный шум, будто кто-то большой выдохнул в воду: фух-ты, фр-р-р...

Я оглянулся: метрах в десяти от меня всплывает чёрно-грязная спина. Кит! С фонтаном. За этой спиной — другая, третья. Пасти такие, что в них наш «Оймякон» или «Конда» поместятся. А лбы бугристые, ракушкой обросли. Глаза! И ещё — киты будто подмигивают мне... Мама родная! По рукам и ногам пробежало электричество. А позади меня: фух-ты!.. Мне показалось, что киты уже раскрыли пасти...

Я плыл с такой скоростью, что, безусловно, побил мировой рекорд. Никогда никому так не проплыть. Даже вода стала горячей.

Как попал на «Конду», не помню. Меня выхватили из воды, потом, кажется, уронили за борт — я всё махал руками и ногами,— потом опять выловили и положили на невод. Ни говорить, ни дышать я не мог. Сердце так колотилось, что грудной клетке стало больно.

— Ну что,— спрашивают меня кондовцы,— здóрово тебя киты напугали?

— Ни капельки,— говорю,— даже наоборот, выручили из беды.

— Из какой же?

— Вода — лёд. Доплывите до «Оймякона» — узнаете.

Никто из них, конечно, не захотел отправиться в такое плавание. Да и я сам возвращался в шлюпке.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ НЕРПЫ

Над морем стоял густой туман. Солнышко висело где-то над ним и не могло пробиться сквозь пелену густого, мокрого воздуха. Отсырела одежда, потными стали переборки и палуба. На антенне и вантах[1] туман повис серебристыми капельками.

Мы чинили трал. Он зацепился за камни на грунте и порвался.

У борта в молочной мгле, втянув желтоватые головки, сидели нахохленные чайки. Им было лень летать по тяжёлому воздуху, и они дремали.

Впрочем, дремали не только чайки. Дремало всё: море, рыба на палубе, наш сейнер. Дремал, поникнув, флаг на мачте. И нам самим привалиться бы на мягкий брезент и закрыть глаза...

Но солнце стало разъедать туман. Он таял, повисая в тёплом воздухе рваными тучками, и скоро совсем исчез. Только вдали ещё прятал черту горизонта и синь неба.

Прошло и наше дремотное настроение. Вокруг блистало на солнце синее море.

Птицы проснулись. Чайки, потягиваясь, распрямили крылья и понеслись над морем; топорки, отыскивая в море еду, занялись нырянием, а бакланы молча перелетали с места на место. Нерпы закувыркались: они высовывали из воды усатые собачьи морды, вертели ими из стороны в сторону, с плеском прятались, подныривая под сейнер.

— Вот непоседы! — сказал Мишка.— И как им только не надоест?

— Что надоест-то? — спросил Василий.

— Ты посмотри! — Мишка подошёл к борту.— Ведь ни на секунду не остановится. Как заводная.

---

[1] Объяснение морских и рыболовецких терминов дано в «Морском словарике» в конце книги.



— Такая уж она, нерпа,— сказал Василий.

Действительно, нерпы были будто заводные: они ныряли, через секунду, подняв нос, выскакивали, фыркали, шевелили усами, приглашая присоединиться к их игре, кивали и, блеснув на солнце пятнистыми спинами, исчезали.

Василий направился в кубрик.

— Вася, принеси ружьё! — попросил Мишка.

— Зачем?

Василий принёс не ружьё, а баян. Он уселся на бухте каната и, подбирая мелодию, пустил пальцы по клавишам.

— Ребята! Ребята! — встрепенулся Мишка.— Нерпы-то!..

Нерпы замерли. Подняв головы, чёрными глазами-бусинками уставились на нас. Все, как одна.

Василий сдвинул баян, мелодия оборвалась на середине фразы. Нерпы завертели головами, сердито зафыркали. Недовольные такие стали, озабоченные.

— Во́ дела! — сказал Мишка и засмеялся.— А ну ещё, Вася!



Василий снова заиграл. Нерпы насторожились, потом стали подплывать ближе. Окружили сейнер и, замерев, смотрели на нас.

На другой день мы ушли в порт сдавать улов.

ЧУДО-ЮДО

Это было в Тихом океане, на сайре.

В ловушке — в кипящем «котле» — мелькнула вдруг большая и какая-то необычная рыбина. Освещённая синей люстрой, она переливалась разными цветами.

— Что же это за рыбина? — сказал Василий и осторожненько стал подводить под неё коплер. Р-р-раз! — и выхватил на палубу.

Она была чуть побольше трески, горбатая — горб начинался от самых глаз,— перепоясанная вся красными, жёлтыми, синими и фиолетовыми полосами. Как в тельняшке, только в разноцветной тельняшке. А горб такой уродливый, кривой какой-то, что и подступиться страшно.

— Ну и чудо-юдо! — сказал Василий, переваливая её с боку на бок.

— Не чудо-юдо, а чёрт! — подхватил Мишка.

— Отложу пока в сторонку,— сказал Василий и бросил её на перевёрнутую вверх дном бочку, стоявшую возле двери камбуза.

В эту ночь сайра шла хорошо, мы ещё пару косячков поймали. Последний вычерпывали, когда уже солнышко вставало. Намаялись, между прочим, что надо.

Утром отвезли улов на берег и сразу легли спать. Про чудо-юдо и забыли.

Проснулись за полдень. Кок позвал нас обедать — столы в кают-компании уже дымились вкусно пахнущей ухой.

— Ну и уха! — сказал Василий, наливая вторую тарелку.— Сегодня ты, Кира, отличился.

— Да, уха отличная,— поддержал Мишка, отваливаясь от стола. Он уже съел две тарелки, мы все — не меньше.— Почаще бы ты, Кира, варил такую.

— А ты бы, Миша, почаще ловил такую рыбу,— ответил ему Кирка.

— Какую? — удивился Мишка.— Уж не чуду-юду ли? Которая на бочке лежала? Ты из неё уху сварил?

— Ну.

— Пропали! — испугался Мишка.— А как она, братцы, несъедобная?

Мишка напрасно испугался. Это была съедобная и очень ценная рыба — нерка. Самец. Из породы лососёвых.

Когда она попадает в пресную воду (она живёт четыре года в океане, а икру мечет в пресной воде, в речке, на четвёртом году жизни; после нереста умирает), самцы приобретают брачный наряд: покрываются цветастыми полосами, у них вырастает горб и зубы. Это мы узнали уже потом у знакомого ихтиолога на базе.

А вот как она после нереста осталась жива, да ещё попала опять в океан, этого мы не могли узнать.

На то, наверно, она и рыба, что плавает где хочет.

— Поймать бы ещё такую...— мечтал с тех пор Мишка.

ПИРАТЫ

На берегу моря лежал кит. Впрочем, это был уже не кит. Это была огромнейшая тёмно-бурая куча. Исполинским холмом возвышалась на ней голова, торчали дуги-рёбра, обозначались позвонки. Хвостовой плавник утопал в лужах жира: под июньским солнцем кит таял. Когда-то могучая, пасть искривилась угрюмой складкой.

— Как же он на берег попал? — удивился Василий.— Вроде ему делать здесь нечего.

— Наверно, братцы, он выпрыгнул на берег, чтобы умереть,— предположил Мишка.

— А разве в море места мало? — возразил ему Василий.

— Ну и что? — заспорил Мишка.— Слоны же уходят умирать куда подальше! Об этом даже в книжках написано. А ты, мой друг Вася, книжек не читаешь.

— Побольше тебя читаю! — возмутился Василий.— И о слонах читал. Но слоны живут где? В саваннах. А кит где?

— Кит тоже большой!

Друзья заспорили. Как всегда, впрочем.

Мы стояли и смотрели на кита. Нам было жалко его: такой большой и так страшно погиб.

Никто из нас не понимал, почему он погиб. Только Мишке было всё ясно...

Озадаченные, пошли мы к шлюпке. Под ногами хрустел песок. Волны лениво подкатывались к сапогам, замывали следы. А над морем и над берегом бушевал птичий базар: чайки, бакланы, мартыны, баулы, кайры кувыркались в тёплом воздухе. Кричали, ссорились. Нерпы, как обычно, играли: они грудью бросались на бегущую по отмели волну, расслабленно переворачивались и катились к берегу в кипящей пене. А под самыми облаками летели гагары, возвращавшиеся из дальнего рейса: в клювах блестело по рыбине для маленьких гагарят.

На горизонте маячил наш сейнер, он стоял на якоре.

Столкнули на волну шлюпку, попрыгали в неё. Кит угрюмо смотрел на нас.

— Загадочка,— сказал Василий.

— Никакой загадки нету,— упорствовал Мишка.

Подошли к сейнеру. Капитан, или, как мы его звали, «Старик», ждал нас: пора было готовиться к ночи, к фосфорическому лову. Подняли якорь и поплыли подальше в море, искать, где рыбки собралось побольше.

— Кита загнали на берег касатки,— сказал Старик, выслушав наш рассказ.

— Касатки? — удивился Мишка.— Но ведь они раз в сто меньше китов!

— Зато у них на спине очень твёрдый и острый плавник...

— Точно! Как коса,— прервал капитана Мишка.

— Так вот,— продолжал капитан.— Эти бестии собираются стаями штук по тридцать — пятьдесят и нападают на кита. Подныривают под него и режут плавниками... Пока от кита ничего не останется. Кит в этих случаях, если близко берег, выбрасывается на сушу и погибает, конечно.

— Значит, они нападают на него... ни за что? — удивился Мишка.— Ну и пираты!

И правда — пираты, ничего не скажешь!

ЧУДНОЙ ОСТРОВ

А ведь есть чудеса на свете... Есть!

Вот как-то вышли мы в море апрельским утром. Был туман. В Беринговом море туманы часто бывают, а в апреле они иногда такие, что свою протянутую руку не видишь. Прохладно, сыро...

Сменившись с рулевой вахты, Мишка пришёл в кубрик озадаченный.

— Ребята, там что-то происходит...— сказал он.

Поднялись наверх — ничего не видно, только один туман, как в молоке продвигаемся.

— Ну и что? — спросили мы.— Туман как туман.

— А вы разве ничего не слышите? — сказал Мишка.

И верно. Откуда-то издалека и сверху — будто с облаков — доносился гул. Непонятный, словно шум далёкого прибоя или ворчание какого-то чудовища.

— Идти прежним курсом! — сказал капитан и улыбнулся.

Идём прежним курсом, непонятный этот гул нарастает. Теперь уже можно расслышать карканье, кваканье, рёв... И всё это над мачтами где-то.

— Братцы, что же это? — засуетился Мишка. Он здорово, наверно, испугался.— Товарищ капитан, что же это?

Капитан молчит, ход сбавил до малого.

Теперь идём тихо-тихо, крадёмся по туману. А этот страшный гул уже оглушительным становится, поджилки затряслись не только у Мишки. Замерли все, ждём.

— Полундра: скалы! — закричал с носа сейнера Кирка, они с Василием стояли впередсмотрящими.

— Ну вот и пришли,— сказал капитан и застопорил ход.— Это остров Верхотуров.

Перед нами были тёмные, скользкие, покрытые бородами водорослей у воды скалы. Они отвесной стеной уходили в туман, вода под ними была тёмная, стеклянно-прозрачная. Со дна до самой поверхности поднимались огромные листья водорослей, будто лес рос на дне моря. Между этими большущими языками листьев скользили какие-то тени. Тени прятались в подводные гроты. А над ними ревело чудовище. Оно ревело оглушительно, как тонущий пароход, будто догадывалось, что мы здесь. Было жутко.

— Туман только у воды,— сказал капитан,— над мачтами тумана уже нет. К обеду разойдётся. Отдать якорь!

К обеду тумана не стало — и тут открылось... Птичий базар!

Чайки, глупыши, бакланы, кайры, топорки, гагары, мартыны, баулы и морские голуби носились над скалами и между скал, кричали, ссорились, кувыркались — ничего не поймёшь, один оглушительный рёв.

Мы все собрались на палубе и, очарованные и оглушённые, смотрели на этот базар. Чайки парили над водой, чиркая крыльями воду; бакланы — чёрные большие птицы с длиннющими шеями — стаями перелетали с места на место; топорки то и дело ныряли за едой; глупыши с криком гонялись друг за другом. А кайры — скал не видно было от их чёрных тел — играли в «баба масло выжимала». Они сидели, плотно прижавшись друг к другу, и, раскрыв клювы, оглушительно орали. А те, которым негде было усесться, чёрными тучами кружились над сидящими и падали прямо в серёдку, выжимая крайних,—

крайние сыпались со скал, взлетали, а затем тоже падали в серёдку. Глупыши яростно — или радостно — бросались друг на друга, сцепливались клубками, крутясь колесом, падали к воде. Кричали при этом душераздирающе. Над всем этим парили морские голуби и чёрными стрелами проносились гагары в вышине.

Мы спустили шлюпку, пошли вокруг острова, отыскивая место, где можно было бы забраться на вершину. В одном месте обнаружили узкое ущелье, разрезающее скалы. По нему-то и забрались наверх — не так-то просто, кстати, было карабкаться по отвесным почти скалам.

Забрались наконец на плоскую, каменистую, ровную, как стол, вершину этого острова. Вокруг ковром лежали птичьи яйца. Всяких размеров и цветов. Одно у них только похожее было — конусообразные они. Тут ещё одна, наверно, мудрость природы: такое яйцо ветер не может укатить с плоской вершины, оно будет кататься по кругу, и всё. Кое-где на гнёздах сидели птицы. Мимо них проходить прямо страшно: они распускали крылья, открывали, хохля спины, клювы, кричали и клевали сапоги.

Ну и базар!

Мы никак не могли прийти в себя от этого зрелища.

— Смотрите, смотрите! — закричал Мишка.

Там, куда он показывал рукой, глупыш выхватил из воды большую рыбину и, горбясь, нёс её над водой. Рыбина отчаянно извивалась, вот-вот вырвется. А он так бешено махал крыльями, так тужился от этой непосильной ноши, что думалось: вот-вот из него дух вон. К нему кинулись ещё два глупыша, стали отнимать рыбину, и он взмыл вверх — и какое же это было усилие! Они — за ним, догнали, сцепились — рыбина, вырвавшись, радостно заизвивалась к воде,— заорали и вертящимся клубком, от которого летел пух, закувыркались вниз. У самой воды разлетелись и как ни в чём не бывало плавно замахали крыльями, молча озираясь по сторонам.

— Не обошлось без ссоры! — засмеялись мы.

Пробрались на другую сторону острова. Там, под ска-





лами на песчаной косе, клином уходящей в море, грелось стадо сивучей. Это был их «пляж». Позы у «загорающих» живописные. Только один из них, самый большой — вожак наверно, потому что он был не тёмный, как все они, и даже не рыжеватый, а седой весь,— не загорал.

Он стоял на самом высоком месте, опершись на передние ласты, и поворачивал из стороны в сторону свой усатый нос. Заметив нас, заревел, как пароход,— и всё стадо волнисто задвигалось в воду. Там они разделились по трое, четверо — семьями видно — и, прогуливаясь возле косы, ждали, когда мы уйдём.

Нерпы же никакого внимания на нас не обратили. Они ныряли, фыркали, прислушивались, гонялись друг за другом.

— Да-а,— сказал Мишка, почёсывая затылок,— чудной остров...

— Чудной,— согласился Василий.

Мы долго стояли на вершине. Не хотелось расставаться с этими шумными и, на мой взгляд, очень милыми жителями острова.

— Скорее, скорее! — кричал Василий. Он висел, ухватившись за крыло мостика, ноги подтянул к животу, красный весь.— Сюда, Миша, сюда!

— Ух-ха-ха! Ох-хо-хо! — заливался Сергей.

Сергей сидел на мачте, возле самой реи. А мы все кто где: в рубке закрылись,повзлетали на мостик. А по палубе, волнисто извиваясь и шлёпая ластами, бежал за Мишкой сивуч. Вот-вот догонит.

— Сюда, Миша! Сюда!

— Полундра! — не своим голосом крикнул Мишка, бросил весло и скакнул через горловину трюма — ну и чемпион! А через секунду был уже рядом с Сергеем.

Увидев, что на палубе уже никого не осталось, сивуч



поднялся на передние ласты, трубно прокричал и, переваливаясь, не спеша двинулся к борту. Бултых в море — и был таков.

Сергей с Мишкой слезли с мачты, Василий спрыгнул на палубу, высунулся из двери камбуза Кирка. Мало-помалу все успокоились.

— Эх, жаль, что не оказалось у меня под рукой лома или топора,— храбрился Мишка,— я бы ему показал!

— А ты бы его веслом,— смеялся Сергей,— зачем же ты весло бросил?..

А начало этого происшествия вот какое. В невод вместе с рыбой поймался сивуч. Мы хотели его выпустить, да Мишка взял весло и говорит:

— Поднимите мне его на палубу!

Подняли его коплером на палубу — стрела гнулась, когда поднимали: центнеров двадцать было в нём,— он и стал гоняться за нами.

А Мишке здорово досталось бы, не сделай он чемпионский прыжок...

МИШКА-ХВАСТУН

Мишка был известный хвастун. Посмотришь на него — герой, да и только. Даже над Стариком подтрунивал и насмехался: наш капитан никогда не брал в руки ружья. Однажды, попав в пургу, он чуть не погиб на охоте и после этого случая дал себе слово: никогда в руки ружья не брать. Слово своё держал крепко.

— Зарок какой-то,— рассуждал Мишка,— да мало ли что с людьми приключается? Что ж теперь? А как, братцы, сердечко сожмётся, когда после твоего выстрела утка закувыркается мокрой тряпкой или зайчик сделает последний кордебалет...

— Миша, перестань! — уговаривал его Василий.— Какое тебе дело?

— Вася, может, и ты зарок дашь?

— Тьфу!

Никакие уговоры на Мишку не действовали.

Но однажды всю эту спесь с него как рукой сняло. А было вот как.

Рыбачили мы у мыса Восточного. В этот день улов сдали пораньше, решили на охоту сходить — уток там тьма-тьмущая — до ночи, до фосфорического лова.

Как обычно, бросили яшку у берега, спустили шлюпку.

— Вот и я сейчас зарок дам,— язвил Мишка, усаживаясь на кормовую банку,— полезу за уткой и начну вдруг тонуть в трясине. И как только смерть подойдёт, я сразу...

— Вот надоел! — в сердцах сказал Василий.



В шлюпку-то Мишка прыгнул первый, но вот за вёсла не сел. За вёсла сели боцман, Сергей, Василий и я. А Мишка, усевшись на корме, рулил. Он то и дело подносил бинокль к глазам, принимал осанистые позы. За спиной у него торчали два ружья: двуствольная тозовка, Васькин подарок, и малопульная винтовка.

Было жарко, плечи так и припекало, хотя с моря тянуло прохладой. Само море как из стекла, только мёртвая зыбь была — огромнейшие холмы тихо-тихо шли от горизонта, плавно поднимали наш «Оймякон», шлюпку, стаи чаек и усатые нерпичьи мордочки. У берега же эти волны превращались в бары — крутые-крутые волны. На отмели они падали исполинскими гусиными шеями, расцветая пеной. Оглушительно урчали. На таких барах к берегу надо подходить умеючи, чуть зазевался на руле — и пиши пропало: шлюпку поставить боком, закувыркает по отмели.

— Ты смотри, «капитан», — предупредил Василий Мишку, — не искупай нас.

— А вот когда, Вася, тонуть будешь, зарок дашь.

— Зарок — не знаю, — отозвался Василий, — а по шее получишь.

Вдруг вода под шлюпкой стала подниматься живой стеной и закипела. Мишка судорожно задвигал румпелем, пытаясь поставить шлюпку в разрез бару, но — увы! — шлюпку поставило боком и понесло к берегу. Не успели мы глазом моргнуть, как очутились в ледяной воде.

Смотрим: шлюпка вверх килем, а на ней Мишка — и как он туда взлетел?! Даже сапоги не намочил.

— Можно оступаться, — сказал Сергей, — не глубоко.

Воды было по грудь. Выплёвывая воду, мы потащили шлюпку к берегу. Ну уж и досталось Мишке! И медузой обзывали его, и рыбьим хвостом. А когда оказалось, что три ружья из четырёх утоплены, да ещё папиросы и спички сырые все, Василий обозвал его акульим потрохом. Мишка, конечно, молчал.

Вытащили шлюпку на берег, выкрутили одежду. Сидим на песке, «дрожжи продаём» — даже костёр не разожжёшь.

Посидели, посидели, потом натянули сморщенные штаны и побрели кто куда: боцман, Сергей и Василий взяли уцелевшее ружьё и направились в кедрач, что у подножия сопки рос. Мишка с ними не пошёл, да они бы и не взяли его. Я тоже не пошёл с ними: одно ружьё на четверых — что это за охота? Я зашагал к сопке, где должны быть ягоды. Мишка уныло поплёлся за мной.

На склоне сопки ягод было так много, что ступить нельзя, чтобы не раздавить несколько штук. Наелись мы быстро. Я лёг на спину, прикрыл фуражкой глаза и стал дремать — так хорошо под жгучим солнцем после ледяной ванны. А Мишка снял рубашку, рукавами завязал её ворот — получилось нечто похожее на сумку — и стал собирать ягоды. Для ребят старался. Видно, оплошность свою хотел загладить. Он спустился к самым кустам, где ягоды пестрели сплошным полем, и ползал на коленях, наполняя «сумку».

Вдруг в кустах, под нами, раздался выстрел и отчаянно-испуганные крики наших ребят. Потом треск, будто ломали весь кедрач сразу. Я приподнялся. Кусты раздвинулись, и прямо на Мишку вывалился медведь. Он был как танк. Из его раскрытой пасти торчали жёлтые клыки.

Увидев Мишку, медведь рявкнул.

Какая-то сила подбросила меня вверх, подхватила и понесла над землёй. Внутри охолонуло, низ живота что-то щекотало, а спину обсыпали холодные мурашки. Ноги сами отталкивались от земли.

Мишка обогнал меня. Он делал четырёхметровые прыжки. Голову втянул в плечи, локти прижал к бокам. И коротко подвывал...

Возле шлюпки мы повалились на песок — ни говорить, ни дышать не могли. Рот у Мишки был открыт, глаза выпучены — дорого ему досталось первое место в этом забе-

ге. Подошли ребята. Они наперебой рассказали нам, как наткнулись на спящего медведя. Они, конечно, испугались, ружьё стрельнуло само, в воздух... А медведь испугался, наверно, ещё больше — он же спросонья!

Мы стояли возле шлюпки и смеялись. Перед глазами маячил этот страшный медведь. А Мишка молчал. Когда стали закуривать, он взял папиросу дрожащими пальцами и сунул в рот не тем концом.

С тех пор он уже никогда не смеялся над Стариком и никогда не говорил, что он герой и ничего не боится.

ПАЛТУС

Между прочим, Мишке у нас всегда почему-то не везло. Нет-нет да влипнет в какую-нибудь историю. Один раз ему даже от рыбы попало. Впрочем, рыбина-то была необыкновенная.

Тралили камбалу. Погода стояла не ахти: зыбь, морось, туман. Холодновато. И рыба ловилась плохо — так, центнера по три брали зараз, не больше. Это не рыбалка, конечно. Хотели уж уходить, да капитан говорит:

— Попробуем ещё раз!

Ну вот. Закинули трал, протащили его по морскому дну, стали выбирать. И лебёдка вдруг так жалобно заныла от напряжения, а стрела даже задрожала. Блоки запели, а ваера так натянулись, что капельки воды на них выступили.

— Вот это уловчик! — запрыгал Мишка.— Наконец-то повезло!

— Может, скалу затралили? — предположил Василий.

— Ты, Вася, у нас Фома неверующий.

— Фома или ещё кто там — это неважно. А вот ты, мой друг Миша, болтун.

— Тише,— остановил их боцман,— сейчас увидим.

Подняли трал над палубой. На этот раз он был не круглый, как всегда бывает, а продолговатый и шевелился.

— Братцы! — засуетился Мишка.— Что же это там?

На палубу полились потоки камбалы и последней вывалилась огромнейшая рыбина. Она была больше лошади, плоская, глазастая — глаза прямо на лбу, да ещё не мигают: от удивления, что ли? Спина у неё серо-фиолетовая, а брюхо белое как снег.

— Ну и чудовище! — закричал Мишка.

— Не чудовище, а палтус,— сказал боцман.— Держать надо, а то уйдёт.

Палтус хлопал плавниками (они у него как крылья) и колотил могучим хвостом — от этих ударов камбала разлеталась фонтаном. И двигался к борту.

— Держите, держите! — кричал Мишка и бегал вокруг рыбины.

Мы все кинулись к палтусу с баграми, хотели как-то удержать его. Да где там! Он полз и полз к борту. У самых лееров уже...

— Уйдёт же! — Мишка кинулся к палтусу и обнял его за хвост.

Исполинская рыбина двинула хвостом — Мишка покатился по палубе.

Крутая волна накренила вдруг сейнер, палтус перевалился через борт и с шумом ушёл в море.

Мы стояли у борта, смотрели в тёмную глубину. Волны равнодушно шумели и плескались. Мишка сидел на палубе и держался за бок.

— Зашибся? — спросил его Василий.

— Не очень,— поморщился Мишка,— только дышать трудно. Покалывает...

— До свадьбы заживёт,— сказал боцман,— зато теперь будешь знать, что голыми руками рыбу не возьмёшь.

— А большой какой!

— Бывают и побольше,— сказал боцман.— И со слона бывают.

— Вот бы нам такого поймать...— мечтательно сказал Василий.

А Мишка ничего не сказал.

БАКЛАН

Ох какой же он злой был! Ужас! Колотил здоровым крылом, царапался — когтищи как грабли. Раскрыв клюв, орал так, что перепонки у нас чуть не лопались.

Он попал к нам в невод — запутался в верхней подборе: рыбу воровал. Крыло у него было сломано, нога вывихнута. Как он вообще жив остался? Ведь море было штормовое, и верхнюю подбору невода сжимало и растягивало, как гармошку. Да и захлебнуться мог.

— Ну что, воришка, попался? — Мишка хотел взять его на руки — и тут же схватился за нос: баклан, изловчившись, кусанул Мишку.— Паршивец! — Мишка побежал в кубрик за йодом.



А баклан лежал на куче невода и злобно смотрел на нас. Крыло беспомощно висело, больная нога была вывернута назад и как-то в сторону.

Не подступишься! Василий подкрался сзади, схватил птицу и отнёс в подшкиперскую.

Мы выбрали невод и занялись бакланом: вправили ему ногу, составили переломанные косточки в крыле, прибинтовали их к палочке. А крыло привязали к боку, чтоб не трепыхалось.

Мишка носил ему в подшкиперскую рыбу — и свежую, и жареную, носил хлеб, кашу, воду. Всё глотал баклан. Особенно рыбу любил: какую толстую рыбину не принесёшь, он проглотит в один миг — шея так и раздувается. Не зря на судне тех, кто быстро ест и пищу глотает нежёваной, называют бакланами.

Жил он у нас целый месяц. И никого не подпускал. Только ты к нему — он уже раскрывает клюв. Чуть зазевался — и ходи с шишкой.

Через месяц боцман сказал:

— Давайте снимем ему шины.

— А вдруг крыло не срослось? — возразил Василий.— Лучше подождать, чтоб наверняка.

Подождали ещё с полмесяца.

Наконец сняли все бинты и шины. И каково же было наше огорчение — он не мог взлететь! Ходил по палубе, злился, а взлететь — никак. Он вообще не шевелил больным крылом, будто забыл про него.

— Давайте-ка посадим его на борт! — сказал боцман.

Посадили на борт. Баклан смотрел на воду, распустив крылья, кричал, но не взлетал. Боцман подкрался сзади и подтолкнул.

Баклан, закричав, закувыркался вниз, но у самой воды взмахнул крыльями и взмыл вверх. Выше, выше... И снова закричал. Но это уже был другой крик. Не рыкающее, отрывистое «ир...ыр...ыр!», а протяжный, радостный крик: «Ир-р-ра... ур-р-ра-а...»

Теперь мы видели лишь одну чёрную точку над морем.



Она приблизилась к облакам, потом спустилась и свернула к берегу.

— Хоть бы круг на прощание над нами сделал,— сказал боцман.

— Вот неблагодарный! — сказал Мишка, потрогав нос.

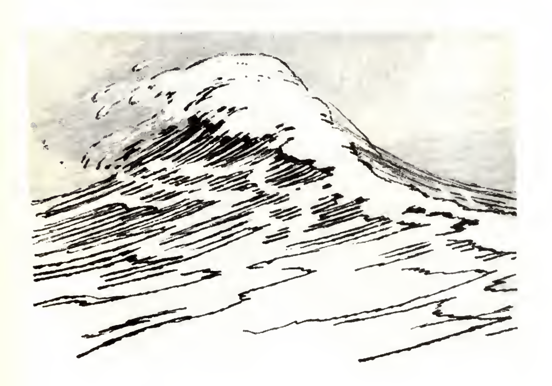
ЧАЙКИ

Чайки живут в море. А вот где же у них дом? Тоже в море? На волнах?

О чайках говорят, что это души погибших в море рыбаков. Это, конечно, выдумка, но когда чайка безмолвно парит над волной, подстраиваясь под её бег, так и хочется верить, что это душа погибшего в море рыбака. Летает она над морем и никогда не расстаётся с ним.

Но вот однажды довелось мне узнать, где у чаек дом.

Шёл я по тундре. Была середина лета. Над озерками



и болотцами летел пух, разносились крики гагар, кряканье уток, гогот гусей. Птицы барахтались в траве и воде, шумели, ничего не замечая вокруг. Да и я, в общем-то, не обращал на них внимания.

Под ногами, между мшистых кочек, по проточным крохотным озеркам шныряли утята. Те, кто повзрослее, улепётывали, перепуганно хлопая по воде слабыми крылышками.

Вдруг воздух надо мной словно разорвался. Поднял я голову и тотчас вжал её в плечи, закрывшись рукой,— прямо на меня пикировали две чайки. Кричали они страшно, глаза у них были выпучены, когти выпущены. Я ещё сильнее вжал голову в плечи и крепко зажмурился.

Они пронеслись надо мной, чиркнув крыльями по моей шапке, и опять взмыли вверх. Набрав высоту, опять распустили когти — и на меня...

Чем же я перед ними провинился?

Я присел ещё ниже... И тут увидел: возле моих сапог



плавают два крошечных птенца. Большеголовые, большеносые, покрытые реденьким серым пушком, сквозь который просвечивает фиолетовая кожица. Один из них, перебирая ножками, подплыл к сапогу, долго смотрел на него, затем откинул голову назад и клюнул. Тупой носик беспомощно скользнул по сапогу.

«Ти-ти, ти-ти»,— заверещал малыш, обращаясь к своему братцу. Он будто говорил: смотри, мол, брат, какая штука. Тот тоже подплыл к сапогу, так же откинул голову, долго целился и так же клюнул. Затем они тесно прижались друг к другу, глядя на сапоги, и стали переговариваться: «Ти-ти, ти-ти», будто решали что-то. А мама-чайка и папа-чайка бросались всё в новые атаки.

Я поскорее ушёл. Мама и папа кинулись к малышам. Мне было слышно, как нежно ворковала мама, ворчал папа. А малышки пищали: «Ти-ти-ти...» Наверное, рассказывали про происшествие.

Возвращаясь на сейнер, я думал о чайках. Всю жизнь они проводят в море, как и настоящие рыбаки, и дом у них — на берегу, как положено.

САВКА

Мы возвращались с Мишкой из тундры. Вдруг на берегу крошечного озерка увидели лису. Она положила голову на передние лапы, прижала уши и щурилась на воду. Нас не замечает.

Миша вскинул ружьё, щёлк — осечка. А лиса — прыг в траву, только хвост красным пламенем сверкнул.

Подошли к озерку, стоим. И вот прямо перед нами вынырнула уточка и испуганно завертела плосконосой головкой, спинка у неё серенькая, брюшко и шейка желтоватые.

— Савка... Это её лиса поджидала,— сказал Мишка и склонился над озерком.— Да у неё одно крылышко свисает... Лиса, наверно, покалечила.

А уточка крутнула головкой — и нету её. Только лапками плеснула водичку.

— Давай подождём,— сказал Мишка,— посмотрим ещё раз.

Ждём минуту, ждём пять... ждём десять минут. А её нету и нету. Из озера никаких ручейков не вытекает, и берега его возле воды почти без травы. Куда она могла деться?

— Что же это? Не могла же она сквозь землю провалиться? — сказал Мишка, обойдя озеро.

Тогда мы стали внимательно вглядываться в это озерко, и оба расхохотались: уточка боком сидела на дне, ухватившись лапками за траву. Одним глазом поглядывала на нас. Притаилась — и ни мур-мур.

— Ну пойдём,— засмеялся Мишка,— а то ещё подумает, что мы такие же коварные, как лиса.

ЗАЙЧИШКИ

Один раз пошли мы с боцманом сидеть на оленей. Оделись потеплее — была уже осень, по ночам случались заморозки.

К полуночи дотопали до солончаков. Много лет назад — может, тысячу — из земли в этих местах били горячие ключи. Они намыли целые поля солоноватого песка. Сюда-то и ходят по ночам олешки подлизывать солоноватый песочек.

Пришли. Морозит чуть-чуть. Кусты берёзок стоят как сахаром посыпанные, луна на середине неба пылает, видно как днём — всё залито синеватым странным светом. Только рябиновые заросли, облепленные ягодами, кажутся чёрными.

Боцман расположился на одной стороне поляны — там олени протоптали проезжие дороги,— я забрался под рябиновый куст на другой. Если олени испугаются боцмана, то побегут прямо на меня. Тень от куста густая, пада-

ет на меня — меня не видно, я же вижу всё как на ладони.

Тишина. Влез ещё глубже под куст, теперь меня совсем не заметишь. А всё вокруг горит и искрится синеватым пламенем.

Вдруг в нескольких метрах от меня скакнул на поляну зайчик. Брюшко у него желтоватое, коготки светятся, а спинка будто льдышками посыпана. Уселся, осмотрелся, поднял уши и замер. Столбик. Затем пошевелил одним ухом, дрогнул одним усом — к нему, изогнувшись и неумело волоча задние ноги (зайцы-то ходить шагом не умеют), подобрался второй зайчик. Сели они спинами друг к другу, молчат. А хвостики у них маленькие, сверху тёмные и беловатые по краям.

Справа от меня что-то шевельнулось. Присмотрелся — совсем маленький зайчик ползёт мимо моих сапог. Припал грудкой к земле и переступает осторожненько, водит из стороны в сторону розовым носиком, но не принюхивается, потому что песчинки и соринки не шевелились — разве что какую усиком зацепит. А задние ноги тащит за собой, так уж ему неудобно тащить их, прямо смех! Уши на серебристой спине лежат. Желтоватый глаз уставился прямо на меня, но, конечно, ничего не видит: косой ведь. Я бы мог протянуть руку и — цап! Но я не дышу.

Он подобрался к первым двум, уселся рядом, поднял уши и тоже замер.

Сидят они, три зайца,— может, это папа, мама и малыш — спинками друг к другу и молчат. Чудно́! Подбородки у них на грудь опущены, передние лапки составлены ровненько, уши на луну смотрят, а хвостики на песочке лежат. И глазом не моргнут. И чего сидят? Заячьи вопросы какие решают, что ли? Тогда почему молчат?

Малыш сидел, сидел, сощурил глаз и наморщил нос: чихнуть будто собрался. Я чуть не расхохотался.

Вдруг те двое одновременно приподнялись, как на старте. Уши у них ещё острее стали. И замерли в такой вот неудобной позе: ноги полусогнуты... Разве долго про-



сидишь так? Но сидят. А малыш всё нос морщит да двигает усами.

Затем осторожненько присели, опять в столбики превратились, но уши всё так же насторожённые — уж не меня ли почуяли? А может, ждут кого?

И опять приподнялись, только малыш всё ещё мотал головой да морщился. И — раз! Подскочили, как мячики,— и в разные стороны. А малыш растерялся, прыгнул на месте, потом в одну сторону, в другую — и полетел за ними.

Что же это?

Потом ясно стало: из травы, как раз напротив меня, выглянула остроносая, остроухая лисья мордочка. Лиса сразу же меня заметила: так и сверлила глазами-иголками.

Присматривалась она ко мне минут пять. Потом мягко — будто ножки у неё из ваты — вышла из кустов, остановилась на том месте, где сидели зайчишки. Стоит ко мне боком, хвост у неё выпрямился стрелой, смотрит на меня.

Я скрипнул сапогами. Она прошлась передо мной на своих мягких ножках — с меня глаз не сводит — и опять замерла. Метрах в пяти от меня. Потом опять прошлась и остановилась с другой стороны. Смотрит. Я скрипнул сапогами посильнее — она метнулась на край поляны и растаяла. Ни одного шороха.

Сучок надо мной треснул. Поднял голову — с вершины сухого дерева взлетела большая ворона. Она сердито взмахивала крыльями, недовольно вертела головой. Расстроенная.

Когда мы возвращались, я рассказал боцману про всё.

— Я тоже и лису и зайчишек видел,— сказал боцман.— А уж ворона так ждала, так ждала... Даже голову наклонила, наблюдая за ними.

В эту ночь олешки не пришли подлизывать солёный песок, охота у нас не получилась, но возвращались мы довольные.

КОМАРЫ

Дело совсем не в комарах — дело в утках.

Ребята с «Конды» сказали, что в лимане возле мыса Южного их так много, что... что просто тьма. Может, и не тьма, но, наверное, много, потому что они привезли целую шлюпку дичи. Говорят, на один выстрел пять штук пришлось.

День стоял замечательный: солнечный, тишина на море. Мы стали на якорь поближе к берегу, спустили шлюпку, сошли на берег. Подобрались к лиману. Лиман — это проточное озеро. В устье речку загородили скалы, она возмутилась, разлилась озером — вот и получился лиман.

На отлогом песчаном берегу много птичьих следов, пуха, помёта, а самой дичи не видно. Мы уже подумали, что ребята с «Конды» просто-напросто надули нас, как из-за мыса, задумчиво смотревшего в воду, показалась целая флотилия уток: и маленькие, и большие, и чирки, и серые, и чернушки, и крохали. Мы так и бухнулись на песок, чтобы не испугать их. Но они всё-таки заметили нас: первые из этой флотилии захлопали крыльями, закрякали. «Полундра!» — будто кричали. Задние напирали на передних, образовался затор. Потом вся стая, тревожно переговариваясь, поплыла назад.

— От нас не убегут,— прошептал Мишка, как только они скрылись.— Тут и по десять штук на один выстрел придётся. Айда за ними!

Подобрались к скале. Она отвесно уходила в воду, вся обросшая мохом. У её подножия из воды торчали валуны.

— Надо срубить длинные жерди и с ними пробираться,— сказал боцман.— Иначе нельзя.

Так и решили. Ребята побежали в ближайшую рощицу, а я сбросил сапоги, куртку, перекинул за спину ружьё, взял у Михаила ещё один нож и, втыкая ножи во влажный ковёр моха, полез наверх: сверху, мол, так и нагряну на утей. Ножи входят по самые рукоятки, я радуюсь, думаю об утках, тороплюсь.

И тут появились комары. Они гудели надо мной серым облачком, отталкивая друг друга, садились на руки, на лицо, шею. С рук я их сдувал, а вот с лица никак прогнать нельзя — на одной руке висеть опасно.

И чем выше забираюсь, тем облачко становится гуще. На эту сторону скалы солнышко не попадает никогда, под мохом сочится вода — одним словом, здесь самое любимое комариное место. Лезу. Скала отвесней и отвесней. А комары... Я, как видно, забрался в самое их царство. Они так облепили мои руки, будто я в перчатках. На лице и шее уселись, тесно прижавшись друг к другу.

«Ладно,— думаю,— вот выберусь наверх, рассчитаюсь с вами».

Но стало невтерпёж.

Чуть в сторонке от меня торчит из скалы выступ. Он похож на балкончик, кривая берёзка свесилась с него. «Переберусь-ка я на этот балкончик,— решил я,— рассчитаюсь с этими кровопийцами, тогда уж и выше полезу». Осторожненько карабкаюсь к балкончику, а они, отгадав, что я собираюсь с ними воевать, накинулись ещё пуще, даже запищали басами.

Ну, ещё шаг, ещё... Вдруг мох под моими ногами дрогнул и с шумом большими глыбами полетел вниз — мои ноги повисли в пустоте. Я судорожно сжал рукоятки воткнутых в мох ножей. Глянул вниз — вишу над валунами. Они, эти валуны, где-то далеко-далеко...

Маленькие молоточки стучали в висках, всё дрожало во мне, рубашка к спине прилипла...

Попробовал кричать, они и рта открыть не дают: только откроешь рот — они туда. Да и голоса из-за их гула не слышно. На радостях, что я попался им на растерзание, они загудели, как паровозы.

«Если ребята не догадаются, где я, конец мне... Они ведь и до валунов долететь не дадут, сожрут на лету». Каждая секунда казалась вечностью.

— Ребята, он здесь,— услышал я над головой голос боцмана.



— Где? — спросил кто-то.

— Вот же!

— Да там одни комары!

Ребята кинули мне связанные ремни, вытащили меня.

Солнышко светило ярко, трава и земля так приятно пахли. Комары исчезли.

На охоте мне приходилось попадать во всякие переделки, но хуже этой — тебя жрут живого, а ты даже мизинцем пошевелить не можешь — ничего никогда не было.

И мне долго казалось, что страшнее и беспощаднее комара нету зверя на свете.

ВСТРЕЧА

Я взял ружьё, охотничий нож, еду и отправился на дальний зимник к дяде Васе, колхозному охотнику. Наш сейнер стоял в ремонте, и у меня выдалось целых три дня свободных.

Зимник, охотничья избушка, находился километрах в тридцати от колхоза, в верховьях речки, почти у самых гор. Дядя Вася летом постоянно жил там. Он готовил ч́умы для пастухов, вялил ю́колу и балык, ставил капканы на выдру.

Чтобы не заблудиться, я шёл берегом речки. Дальше, но надёжнее.

Был июнь, по тундре летел птичий гам, воздух был густой, трава сочная. Кусты кедрача стояли светло-зелёные, от них тянуло густым ароматом; берёзы горели на солнце ярко-зелёным нарядом. Вокруг был разгар цветения, а впереди — щедрое материнство...

Я шёл над самой водой. Ольховые кусты задумчиво смотрели в воду. Заросли ивы, казалось, отдыхали на воде. Мне трудно было продираться через них.

На нерест шла красная рыба — кета и горбуша. На перекатах у порогов ее собиралось так много, что она не

вмещалась в речке, сплошные плавники торчали из воды. А как рыбы «брали» водопады, взлетая вверх по отвесной струе! Они какое-то время плавали перед водопадом, затем кидались на стену воды — бешено, изо всей силы вибрируя всем телом. Не все попытки были удачны, и рыбы, отдохнув, делали новые и новые броски.

Рыбы шли в верховья речки, где в тихих заводях на песке (самцы заранее выроют ямочки) будут нереститься: самки метать икру, самцы — молоки. Закопают её в песок и будут сторожить от гольцов и форелей, пока течение не унесёт опять в море их обессиленные тела — в это время они уже ничего не едят. Отнерестившись, умирают.

Я часто останавливался, наблюдая эту борьбу за будущую жизнь.

Стайки уток, увидев меня, отплывали на середину речки — там были утята и летать они ещё не умели. Иногда из-под ног выскакивали перепуганные насмерть кулики. Гуси взлетали шагов за сто: уж очень осторожные они. Зато куропатки подпускали шага на три. Моё ружьё бесцельно болталось за спиной — заряжено оно было жаканами на случай встречи с медведем.

На излучине, где река круто убегала в заросли, я раздвинул кусты и отпрянул назад. Сорвал ружьё и взвёл оба курка — в нескольких метрах от меня в воде прохаживался большой медведь. Он был, наверно, чем-то расстроен: шерсть на спине дыбом, уши прижаты, а нижняя губа отвисла и выгнута ковшиком.

Я посадил левый бок медведя на мушку.

Медведь покосился красноватым глазом на ружьё, фыркнул и лениво побрёл в кусты — нижняя губа выгнулась ещё больше.

Проводив Мишу взглядом — он бесшумно пропал в кустах, что мне, кстати, понравилось,— я быстро зашагал дальше, держась поближе к воде и то и дело оглядываясь. Ложе ружья вспотело.



ЧИЖИК И ДАРМОЕД

К вечеру я был на зимнике. Меня встретили два пса, Чижик и Дармоед. Ух, какие красавцы! Уши стоят, как у волков, хвосты прямые, груди в узлах мышц. Бег чисто волчий: размеренный, молчаливый, прыжками. Похожи друг на друга как две капли воды, только у Чижика одно ухо рваное да взгляд не такой преданный, как у Дармоеда. И ещё Чижик всё время держался в сторонке, не лез на глаза.

Дядя Вася только что вернулся с обхода капканов — в углу лежали серые тушки выдр,— разводил костёр. Я рассказал ему о встрече с медведем.

— Рыжеватый? — спросил старый охотник.

— Я заметил только, что он очень большой и страшный,— сказал я.

— Это наш Миша! — засмеялся дядя Вася.— С другим бы ты не поладил, и одному бы из вас не повезло.



— Как ваш?

— У нас живёт, с нами за компанию.— Старик кивнул в сторону красавцев псов.

Дармоед приподнялся и угодливо замахал хвостом, следя за каждым движением хозяина. Чижик лежал поодаль, не обращая на нас никакого внимания.

— В прошлом году, в апреле,— рассказывал старый охотник,— мы наткнулись на Мишину мать. Нечаянно, конечно. Мы (дядя Вася под словом «мы» имел в виду Чижика и Дармоеда, разумеется) проверяли соболиные ловушки. Расположились почаевать, и вдруг неподалёку от нас... сугроб разламывается, и перед нами встаёт большая медведица — был туман, берлогу-то мы и не заметили. Я схватил ружьё, а оно заряжено дробовыми патронами. Пока я искал патроны с жаканами да перезаряжал, она и лапы развела, чтоб сломать меня. Несдобровать бы мне, да Чижик спас. Вцепился медведице в заднюю лапу, а она обернулась — и на него. Он проскочил у неё между ног и за хвост её. А тут и я подоспел с двумя выстрелами... Чижик отполз в сторонку весь окровавленный: плечо у него было разорвано, вдоль спины кожа содрана. Две недели выхаживал его, думал, не выживет.

— А Дармоед?

— О-о! За километр убежал, как только медведица поднялась из берлоги. Тогда-то я и назвал его Дармоедом, а до этого случая он прозывался Рексом.

— Вон, оказывается, что...

Я смотрел на красавцев псов. Один из них сидел неподалёку от дяди Васи и преданно смотрел в глаза ему, а другой, Чижик, лежал где-то в кустах, его и не видно было.

— Вот как получилось... Медведицу-то мы уложили, а малышок остался. Мы его и взяли к себе. С тех пор у нас и живёт, его-то ты и повстречал на речке.

— Вон что!

Я удивился ещё больше.

— Так-то вот,— продолжал старик,— у нас и живёт.

Только долго нашу компанию не выдерживает — нет-нет да и убежит в тундру, на неделю, дней на пять. Возвратится, поживёт — и опять в лес.

— А зимой как же?

— Пойдём, покажу его квартиру.

За избушкой лежала огромнейшая куча хвороста, высохшей травы, вывороченных с корнями деревьев.

— За лето натаскал,— сказал дядя Вася.— Как первый заморозок, забирается сюда — и до весны.

Я рассматривал деревья, попробовал одно из них сдвинуть с места — никак.

— Миша у нас здоровый,— улыбнулся старый охотник,— завтра пойдём посмотрим, что он там нарыбачил.

— Он там рыбачил?

— А ты и этого не заметил? Здорово же ты его испугался!

— Он ведь такой огромный... как вагончик.

ЛАКОМКА

На другой день мы были на излучине реки. Рыбак рыбачил. Войдя в воду, он замирал с поднятой лапой — шерсть дыбом, уши прижаты, нижняя губа ковшиком. Затем резко двигал лапой, и на берег, извиваясь, вылетала рыбина. Он относил её подальше и закапывал в песок.

— Лакомка,— сказал дядя Вася.—Это он тушит её. Вкусную любит. В горячем песке она размякнет, сладкой станет, тогда он и ест её.

А Лакомка выбрасывал на берег одну рыбину за другой.

— Миша! — крикнул дядя Вася и стукнул ладонью по голенищу сапога.— Сюда!

Медведь поднял голову, отряхнулся и лениво побрёл из воды. На берегу молча обнюхался с Дармоедом и Чижиком — те поджидали его,— потом подошёл к нам. Я отошёл в сторонку.

— Не бойся,— сказал старик, заметив моё смущение,— он смирный.

Миша равнодушно посмотрел на меня. Затем стал тереться ухом о ногу дяди Васи. Тот гладил его по спине, приговаривая:

— Ну, деточка, всё бы тебе ласкаться.

Миша взял в рот руку охотника, легонько потрепал её, потянулся к другой руке.

— Ну, деточка,— приговаривал старик,— всё бы тебе играть...

Возвращались мы на зимник всей компанией: Чижик с Дармоедом летели впереди, Лакомка плёлся вслед за старым охотником, а я держался от них подальше: наедине старался оставить их, они же друзья.

Ужинали мы тоже все вместе. Лакомка сам принёс свою большую миску и терпеливо ждал, когда дядя Вася наложит в неё варёной рыбы, нальёт бульона. Потом отошёл в сторонку, бочком привалился к миске и неторопливо стал есть. Он лапой вылавливал куски рыбы, старательно обсасывал каждую косточку. Всё это не торопясь, с расстановкой. Хоть и не спешил он, но его большая миска опустела быстрее, чем у Чижика и Дармоеда.

Поужинав, Лакомка отодвинул миску, лёг на бок, одну лапу закинул за ухо и сощурил глаза. А скоро и совсем закрыл их.

— После еды сразу ложится спать,— заметил дядя Вася.

Утром я уходил. Чижик и Дармоед давно уже были, конечно, на ногах. А Миша спал. Он лежал посредине избушки всё в той же позе — одна лапа за ухо.

— Он у нас любит поспать,— говорил дядя Вася, собираясь проверять капканы,— раньше обеда не проснётся...

Мне так не хотелось расставаться с ними...

ГОРНАЧОК

Ну вот и кончилось лето, и кончилась осень. Кончилась и рыбалка. Над Камчаткой забушевали пурги, заливы Берингова моря сковало торосами.

Мы поставили свой «Оймякон» до весны, до следующих плаваний, до следующей рыбалки. Вошли — когда ещё речка незамёрзшая была — в устье речки, уткнулись носом в берег, на берег вынесли якоря. Вмёрзли в лёд. С приходом пург судно так завалило сугробами, что только кончики мачт виднелись.

И вот каждый вечер к нам в гости стал приходить маленький, жёлтенький, с белым брюшком и белыми лап-



ками зверёчек. Был он маленький-премаленький, как котёнок, но злой — ужас! Бусинки-глаза так и сверкали.

Зима же была лютая, морозы держались не меньше тридцати. Метели стучали в иллюминаторы, солнышко показывалось только изредка, и то часа на четыре. Выйдешь в полдень и не веришь, что это полдень.

И этот зверёчек каждый вечер по-хозяйски являлся на камбуз, устраивался, например, на мешке с мукой и скалил зубки, бросая глазёнками злые искры.

— Что я с ним буду делать? — расстраивался Кирка.— Он не даёт мне варить ужин.

— А ты подружись с ним,— советовали мы.

— Пробовал. Не хочет.

Кирке так и не удалось подружиться с ним. Ну, прежде всего он ничего не ел, что бы Кирка ему ни предлагал. Он приходил просто переночевать. Утром исчезал. Где он пропадал целыми днями, мы не могли узнать: следы, идущие от сейнера, терялись возле норки, которая уходила в заваленный сугробами кедрач.

Кирка готовил теперь ужин заранее, когда наш гость не появлялся ещё, и приносил в кубрик. В кубрике мы разогревали ужин на электроплитке.

Когда наступили тёплые дни и сугробы, набухнув, потекли ручьями и разлились озёрами по тундре, горностай, или, как мы его прозвали, «горначок», перестал приходить на ночёвку. Да и зачем мы ему теперь нужны были, когда всё вокруг, согреваемое жгучим весенним солнцем, цвело и наливалось соками?

А тут и рыбалка началась, мы в море ушли.

Интересно, придёт ли он к нам следующей зимой? Мы, конечно, будем ждать.

ЕЗДОВЫЕ СОБАЧКИ

Перед Новым годом ехал я по делам в Оссору. Ехал на собачках: по тундре ведь на лошади не поедешь, а на машине — и подавно.

Вёз меня Саша Макаренко, колхозный каюр. Летом он, как и все мы в колхозе, рыбачит, а зимой вот разъезжает то за почтой в район, то кассира или бухгалтера в банк отвезёт, а то просто в лес по дрова.

— До чего же хороши эти собачки! — говорит Саша и поудобнее устраивается в нарте.— И никаких забот с ними не знаешь: сарая им не надо, пить не просят, едят только рыбу, один раз в сутки, перед ездой.

— Пожалуй,— соглашаюсь я.— Да и быстро идут.

— Ещё как! А увидят лису — не удержишь. Кошек тоже не любят.

Саша тихонько посвистывает на своих любимчиков, а они, потряхивая сбруей, ковыляют и ковыляют. Шипит снег под нартой, убегают в белую бесконечную даль две полосы от полозьев да рассыпчатый собачий след. На горизонте эта искристая даль сходится с небом.

— Вон видишь вторую пару? Пятнистые! — говорит Саша и показывает на вторую пару от передовика: собачек он безумно любит, и о чём бы разговор ни зашёл, непременно сведёт его к собачкам.— Это у меня пурговые. Как только пурга начинается, ставлю их передовиками — сами дорогу в пурге находят. В прошлом году поехали мы как-то за дровами, а палаток не взяли, на хорошую погоду понадеялись. Да не тут-то было! Как только выехали из лесу, она и дунула. Мы побросали дрова, поехали быстрее.

А снег валит и валит. Стали выбиваться из сил, побросали половину нарт, по две упряжки в нарту заложили. Пурга ещё сильнее. Ночь уже настаёт, поняли, что заблудились. Ребята уже хотели яму рыть в снегу и переждать пургу, но я настоял идти. Заложил вон их передовиками, и побрели мы. И что же ты думаешь? Привели в колхоз. А если бы не они — крышка нам. Яма — это ненадёжное дело.

— Хорошие у тебя собачки,— говорю я.

Саша смущается, краснеет, затем продолжает:

— Только уж очень кошек не любят. Один раз здо-



рово меня подвели. Да меня-то что? Человека чуть не загубили.

— Как же?

— Да так. Ехали мы с нашим завмагом в банк, он выручку за всю зиму вёз. В Макарьевске решили переночевать. Зашли, значит, к знакомым, а собачек во дворе к забору привязали. Только разделись, сели чай пить, как слышим, всполошились они, хрипло залаяли и затихли вдруг — я сразу догадался, в чём дело. Выскакиваем, и точно: оборвались и уже несутся по улице за котом. Через минуту и след их простыл.

— Ну и что же? Не нашёл?

— Собачек-то я нашёл — на краю деревни за плетень зацепились, да сумки с деньгами не было в нарте. А кто их знает, по каким местам и сугробам они носились за этим котом. А тут пурга начинается, за ночь всё заметёт. «Ну, Саша, пропал я,— говорит завмаг,— сам понимаешь — какие деньги!» Я побежал в правление, по трансляции объявили. Весь колхоз почти вышел искать эту сумку. За верёвку держались: в пургу ходить, сам знаешь, без верёвки нельзя. Еле нашли... А если б не нашли?

— Н-да...

— А вот эти,— Саша показывает на головную пару,— мои самые надёжные. Уже третий год передовиками ходят. Недавно поехал я в Уку...— И Саша начинает ещё одну историю о своих любимчиках.

А собачки ковыляют и ковыляют, потряхивают и потряхивают белыми, чёрными и пятнистыми спинами. Иногда какая-нибудь из них лизнёт снег. Шипят полозья, убегает тундра. Я повыше натягиваю кунаи, закрываюсь брезентом. Меня убаюкивает, клонит в сон. Сашин голос слышу откуда-то издали и уже не разбираю, о чём он говорит...

ДРУЖБА

В Атлантику Кузьма с дядей Ваней ходит давно. Даже сам дядя Ваня забыл, когда судьба свела их. Вспоминая какую-нибудь историю, дядя Ваня обычно так начинал: «Это ещё когда Кузьма маленький был».

На берегу они тоже всегда вместе. Кузьма обычно бежит рядом и молчит. А если дяде Ване случалось засидеться у кого-нибудь из друзей, Кузьма ждал. Хоть днём, хоть ночью.

В рейсе, когда команда поест и все разойдутся из кают-компании, они оставались одни. Дядя Ваня садился чистить картошку, Кузьма рядом пристраивался, чуть шевеля свисающим ухом.

— Ну что, Кузя? Отобедали? — спрашивал дядя Ваня. И за Кузьму отвечал: — Отобедали. А теперь подумаем об ужине.



Так они и разговаривали.

Но вот у Кузьмы появился ещё один друг.

Перед уходом в рейс боцман принёс маленького, почти слепого, не умеющего даже стоять щенка. Он положил его под диван, где была «постель» Кузьмы, сам присел на стул. Кузьма подошёл к незнакомцу, обнюхал его, уселся рядом. Щенок потянулся слеповатой мордочкой к Кузьме, повёл чёрненьким носиком и слабо пискнул.

— Голос?! — удивился боцман.

Так его и назвали — Голосом.

Через три месяца щенок превратился в озорного и непоседливого кобелька. Он целыми днями носился по траулеру, обнюхивал все углы, таскал рукавицы, портянки.

Кузьме же он не давал покоя. Стремительно подскакивал к нему, толкал лапами в бок или кусал свисающее ухо. Кузьма прикрывал глаза, отворачивал морду. Если Голос уж слишком увлекался, Кузьма шлёпал его лапой. Голос не ойкал, хотя шлепки были увесистые, а подкатывался к Кузьме, тыкался носом в его шею и лизал её... Вот как.

Спали они вместе. Голос прятал свой нос в мягкий живот Кузьмы, Кузьма накрывал его лапой. Просыпался первый, конечно, Голос. Как только дядя Ваня начинал греметь кастрюлями, Голос вскакивал и летел к камбузу. Ставил передние лапы на порог, строго смотрел в глаза дяде Ване и подметал хвостом палубу. Кузьма подходил спокойно, садился в сторонке, молчал.

Дядя Ваня ставил им миску супа или молока с хлебом. Голос стремительно подлетал к еде, жадно глотал, захлёбывался. Ворчал при этом. Кузьма подходил не торопясь, разглаживал беловатым языком усы. Ел спокойно, с расстановкой.

После завтрака они совершали обход судна. Кузьма шёл вразвалку, как и полагается настоящему моряку, а Голос бежал так, будто за ним кто гнался. Он метался по сторонам, совал свой нос во все дырки, суетился.

Завершением обхода был мостик. Кузьма, подойдя к двери рулевой, царапал её, а Голос лаял и пытался укусить. Дверь открывалась, и Голос влетал гранатой, бросая «гав-гав!» направо и налево, и уже что-нибудь тащил: сигнальный флаг, упавшую со штурманского стола таблицу или карту. А Кузьма входил спокойно и, чтобы не мешаться под ногами, садился где-нибудь в сторонке.

Насуетившись, Голос тоже пристраивался где-нибудь в уголке и тут же засыпал. А Кузьма опять царапал дверь — дверь открывалась — и уходил к дяде Ване. Садился рядом с ним и смотрел, как тот возится с кастрюлями.

Прибегал Голос: «гав-гав» — проспал... Опоздал ведь. Тявкнув и получив лапой от Кузьмы за приставание, уносился куда-нибудь. А через секунду тащил по коридору швабру или чей-нибудь сапог.

Иногда они выбирались на палубу, где шла работа. Голос, конечно, тут же принимал участие: кусал ползущие из-за борта сети, заигрывал с трепыхающимися се-



лёдками и, конечно же, попадал в какую-нибудь историю: то водой его окатит, то в трюм свалится, то лапу ему кто-нибудь отдавит. А Кузьма, посидев с минуту в сторонке, шёл к дяде Ване.

— Ну что? — спрашивал дядя Ваня.— Как ребята рыбачат? Нормально?

Кузьма шевелил ухом.

А Голос, зализав отдавленную лапу, уже шумел — чаек вызывал на ссору.

В середине рейса с дядей Ваней случился приступ аппендицита, ему пришлось уйти на время с траулера: операцию могли сделать только на базе. Он и Кузьму хотел взять с собой, но мы упросили оставить: вернётся ведь через месяц.

А Кузьма, оставшись без дяди Вани, заскучал. Он целыми днями просиживал на шлюпочной палубе и смотрел на горизонт. Взгляд мутный, понурый. Он даже надоедливого щенка не стукал лапой за приставания. И ничего почти не ел.

Однажды входит в кают-компанию боцман и говорит:

— Ребята, с Кузьмой плохо.

— Что такое?

— Будто не в своём уме он.

Мы поднялись на шлюпочную палубу. Кузьма жался в угол на крыле мостика, трясся всем телом и постукивал зубами, хотя духота стояла страшная: мы работали в тёплых широтах Атлантики. Умные глаза помутнели, и будто испуг в них.

Голос сидел в сторонке и внимательно смотрел на Кузьму. Ушки его торчали, взгляд серьёзный — впервые, кажется, он не суетился.

Боцман подошёл к Кузьме, попытался погладить его. Кузьма, выгнув спину, отскочил и залился таким раздирающе-хриплым, воющим лаем, что нам страшно стало. Это был не собачий лай, а что-то хриплое, протяжное.

— Кузя, Кузя...— Боцман потянулся ближе, стал гладить.

Он укусил боцмана за руку, метнулся по крылу мостика. В брезенте, обтягивающем крыло, была дыра. Он проскользнул в неё и вывалился на палубу. Побежал на нос судна, стал карабкаться на борт. Скачок, волнистое движение — и прыгнул в море. Волны подхватили его, укутали пеной. Ушастая голова пронеслась мимо борта и замелькала далеко за кормою.

Мы развернулись, сбавили ход, хотели спасти его, но ушастой головы нигде не было. Только волны...

Голос не заметил исчезновения своего друга, как, впрочем, он не заметил и ухода дяди Вани. Он по-прежнему таскал сапоги по коридору, суетился на палубе, ссорился с чайками, беспечно обнюхивал углы.

Через месяц дядя Ваня возвратился.

— Н-да...— сказал он, выслушав всю историю.

Как-то утром Голос, как обычно, стоял на пороге камбуза, мёл хвостом палубу и строго смотрел на дядю Ваню — тот крошил мясо в миску с супом.

— Эх, пёс ты, пёс,— сказал дядя Ваня, подавая ему миску,— бестолковый ты пёс! — и оттолкнул щенка ногой. Единственный раз в жизни он обидел животное.

НАШ МИША

I

Когда мы встретились впервые, он скалил зубки, морщил носик и пятился назад: толстющая цепь погромыхивала за ним. Я полез в карман за деньгами.

— Да возьмите за так! — взмолилась хозяйка.— Вот смотрите, что он, проклятый, со мною сделал! — Она протянула забинтованную руку.— У-у-у, паршивец!— И замахнулась метлой на него — он ещё больше подался назад, сморщил нос и зарычал.

Я смотрел на этого забитого, перепуганного, обозлённого, крохотного — величиной он был не больше моего сапога, голова, кстати, была больше его самого,— почти игрушечного медведика. Он поблёскивал на меня сердитыми желтоватыми и в то же время перепуганными глазёнками.

Я обвалял кусок хлеба в сахаре и протянул ему. Он попятился и зарычал, смотрел не на хлеб, а на меня. Я — ближе кусок, к его подрагивающему носику.

— Укусит!

И точно: мою руку обожгло, двумя полудужками на ней выступила кровь.

— Я же вам говорила! — запричитала хозяйка.— О господи, йод-то у меня где? И зачем я взяла беду на свою голову...

— А как он попал к вам?

— Да у охотников взяла. Сжалилась, а он, паршивец...

Он рычал, забился в самый угол и не спускал глаз с метлы.

Я взял у хозяйки метлу, поставил у двери, а к нему опять с хлебом:

— Что же ты, брат, такой сердитый? Я ведь тебя не кусаю!

Я опять тянулся к нему, он ворчал, тёрся затылком о стену, косил глаза на мою руку. Но я не верил, что такой вот малышик может быть таким упрямым. Да и зачем ему меня кусать, я же...

— Руку... Ах!

И на другой моей руке выступили капельки крови.

— Боже мой, ведь зубы-то как иголки... Давайте забинтую.

Хозяйка смазала ранки на моих руках йодом, забинтовала. Он сидел в своём углу нахмуренный, время от времени поблёскивал на меня непреклонными глазёнками — на хозяйку же он ни разу не глянул...



— Всё-таки я ещё раз попробую,— сказал я и опять к нему с обсахаренным куском.

Он, конечно, опять вцепился в руку, но бинтов на ней было так много, что прокусить у него не хватало силёнок. Он тискал зубами руку и ворчал; подавливания зубами были с каждым разом слабее и слабее.

— Ну что? Доволен? Ну, кусай...

Он отпустил руку. Я прикоснулся к его затылочку — он задрожал всем тельцем, быстро-быстро засопел и заскулил. Отвернулся и засунул нос в угол. Блеснул на меня глазёнками — они были влажные.

Я достал нож, отрезал ошейник и отшвырнул эту страшенную цепь. А его взял на руки и вынес на улицу. Поставил на ноги. Он сел, отряхнулся, сощурился на солнце — и стал чесать за ухом задней ногой и... свалился на бок. Поднялся, ещё раз тряхнул головой и заковылял к воротам.

И вот мы с ним шествуем по улице. Он впереди, а я за ним. Ковыляет он препотешно — косолапый до того,



что нога за ногу цепляется,— то и дело спотыкается на ровном месте и падает. Я не насмеюсь, глядя на него.

И вдруг, откуда ни возьмись — из-под забора, что ли? — три собаки. Да такие злые, что один страх: в их глотках будто что-то с треском рвалось и с клёкотом вылетало на нас. Потом ещё две, и ещё злее. Я испугался, стал по сторонам глядеть, отыскивая палку, а медведик хоть бы что: спокойно уселся, потёр лапой нос и так влепил подскочившей шавке по уху, что она перекувырнулась, кинулась под ворота и там заойкала — ну и ударчик! Самый настоящий боксёрский удар сбоку. Другие отступили, но обозлились ещё больше. Они стали приближаться — с оскаленными пастями, взъерошив шерсть...

Плохо бы нам пришлось, да выручили ребята — они из школы возвращались. Они побросали свои сумки с книжками и разогнали всех псов, понабежавших даже с дальних концов деревни.

Оказавшись на свободе, мы опять зашагали по улице.

— Миша, а Миша,— стал я звать своего нового знакомого,— куда же ты? Айда на судно!

Куда там! Он даже не оглянулся, а косолапил и косолапил по улице. В другую сторону от причала. Пришлось догнать его, взять на руки — он даже ни разу не зарычал и ни разу не оскалил зубы.

— Теперь наш будет? — спросил Кирка, когда мы пришли на пирс.

— Наш.

— И как же мы его назовём?

— Моим тёзкой! Как же ещё? — засмеялся Михаил.

— Что ж, давай Мишей назовём,— согласился я.

Кирка пошёл на камбуз, принёс миску сахара. Миша лизнул сахарок, заурчал, поднял уши и схватил миску двумя лапами, сунув в неё нос. А через несколько минут уже облизывал её края. Отвалившись от миски, лениво и благодушно стал расхаживать по причалу. Свесившись с причала, заглянул в воду, попробовал прочность кнех-

тов, покачал швартовые концы. Одним словом, обследовал всё.

Через некоторое время мы уходили в море, вечер уже наступил. Мне надо было стоять на руле, и я отнёс Мишу в кубрик. И каково же было моё удивление, когда он приковылял ко мне в рубку! Улёгся возле моих ног и обнял мой сапог. И захрапел. Я хотел отодвинуться — мне понадобилось отойти от руля,— он проснулся, заурчал и ещё крепче прижался к сапогу. Ну что тут поделаешь? Так и пришлось простоять всю вахту на одном месте.

II

Ну и хлопот же с ним стало! Проснувшись, он пошёл прогуляться по «Оймякону». Не успел я, сдав вахту, спуститься в кубрик, как слышу крик:

— Человек... Мишка за бортом!

Выскакиваю — он барахтается в волнах уже далеко за кормою и так это весело отфыркивается.

Выловили его. Он отряхнулся и как ни в чём не бывало заковылял на бак. Перекарабкался через борт, уселся на якорной лапе и, свесившись, стал ловить отлетавшие от форштевня брызги. Ловил, ловил — и кувырк в море. Пришлось разворачивать сейнер.

На этот раз я отнёс его к Кирке на камбуз. Тот сунул ему кружку компота. Он заурчал, сунул лапу в кружку и будто забыл про брызги. Но минут через двадцать, когда Кирка ушёл, он всё вверх дном перевернул: краны отвёрнуты, кастрюли на полу, уголь рассыпан, печка открыта. Сам же любитель компота сидел среди этого разгрома весь в муке, держался за обожжённый нос и жалобно скулил.

— Нажили себе лихо,— покачал головой Кирка.

— Его надо воспитывать,— сказал Василий.

И мы стали его «воспитывать». Ну и работка же это была! Первые месяцы он ничего не понимал — он, конечно, понимать-то понимал, да не слушался. Говоришь ему:

«Миша, это делать нельзя!» Он всё равно делает, лезет туда, куда совсем не надо лезть. Или: «Миша, сиди!» Он и внимания не обратит.

Но вот на пятом месяце (ростом он стал с самую большую собаку, толщиной с бочку и тяжелее самого тяжёлого мешка) он наконец стал послушным. Скажешь: «Миша, не трогай!» Ничего и не трогает. Или: «Миша, посиди тут вот, подожди». Сидит ждёт. Но всё равно иногда не слушался.

Вот как-то прогуливались с ним по берегу, зашли в магазин — в Пахаче дело было. Я сказал ему, чтобы он ничего не трогал в магазине. Он действительно ничего не трогал и никуда не лез, всё ходил за мной, рассматривал разные покупки. Вдруг перед нами оказался прилавок с сахаром, он схватил всю коробку — и к двери. Ну кому это понравится? Я отобрал у него коробку, извинившись, возвратил продавщице, а его вывел за дверь и приказал сидеть. Сам отвернулся по своим делам. Но не прошло и минуты, как слышу крики продавцов и смех покупателей — мой Миша бежал к двери с полмешком сахара.

Что тут поделаешь? Опять мешок назад, опять извинился, а его за дверь и теперь уже строго-настрого приказал: сидеть. И побранил немного. Он, конечно же, всё понял и даже глаза закрыл и отвернулся — хватит, мол, нотации читать,— когда я его стыдил. И вид у него был покаянно-задумчивый, даже нижняя губа отвисла. «Ну, теперь всё хорошо будет»,— подумал я и направился в магазин. Потом решил закурить, остановился возле двери. Глядь, а он уже стоит сзади меня. «Ты что же это, паршивец?» Он обиженно вытянул нижнюю губу, выгнув её трубочкой, заворчал и заковылял на место, где я его посадил.

«Ну и каналья,— рассердился я,— ведь опять не послушается! А ну, проверю».

Я вошёл в магазин, потом незаметно возвратился к двери и стал за косяк её. Подглядываю. Он посидел, поси-

дел, приподнялся, потоптался на месте и опять сел. Потом почесал за ухом — и в магазин. А тут я: «Ты куда?» Он кинулся на место, недовольно так засопел, замотал головой — нижняя губа, конечно, трубочкой — и повалился на траву, положив голову на передние лапы. Закрыл глаза. Я расхохотался. Потом пошёл в магазин.

«Теперь-то уж он не полезет»,— подумал я, нахохотавшись.

И не успел я там ещё ничего сделать — мне надо было отдать заявку на продукты,— как слышу звон стекла и крики продавцов. Оглянулся — Миша улепётывает от прилавка с блюдом конфет. Прямо с витрины его схватил, а так как витрина мешала ему, он лапой по ней.

Вот как было... Пришлось попросить знакомого рыбака, чтобы он выписал продукты, а сам я ждал возле двери магазина. Миша сидел рядом.

Но он и здесь, негодник, нашёл средство добывать сладости, он взимал «пошлину» с каждого, кто выходил из магазина: зацепит когтем сумку и держит.

«Что же ты делаешь, нахал?» — кричу ему и грожу пальцем возле его носа. Он отвернёт морду, закроет глаза, а сумку не отпускает. И не отпустит до тех пор, пока не получит конфетку или кусочек сахара.

За витрину пришлось платить — семнадцать рублей сорок копеек.

III

Забавно Миша начинал свой день. Просыпался, брал кастрюлю — ушки на когти надевал — и брёл к камбузу. Если дверь была закрыта, колотил кастрюлей по ней — от этого, кстати, вся его посуда гнутая и перегнутая была. Кирка выносил ему ведро ухи, переливал в кастрюлю. Миша тащил её на бак, к брашпилю, приваливался к кастрюле и начинал есть. После еды раскидывался на палубе и опять задрёмывал. Этак на часик. Просыпался —



и работать: таскает швартовые концы, гнёт леерные стойки, пробует прочность фальшборта или угольного ящика. А иногда (если никто не видит) стащит лючину или брезент с трюма и спрячет... Да так спрячет, что днём с огнём не найдёшь. До огнетушителей добирался — вместе с гнёздами выворачивал их.

Но самым любимым его занятием было — это запутывать и распутывать швартовые концы. Стащит их с кнехта и начнёт вязать «узлы» на них. Чтобы он не трогал их — они ведь нужны постоянно,— мы давали ему перетаскивать с места на место капитанский конец. Он длиною в четверть километра — мы невод на нём крепим в штормовую погоду,— для работы не всегда нужен. Ну вот. Миша перетащит этот конец с кормы на нос и начнёт накручивать на себя. Так это старательно обматывает себя, с сопением, кряхтеньем. Ладно, пусть возится, только бы не лез под руки. А то ведь то и дело лезет со своей «помощью»: швартовый так запутает, что не распутаешь, брезент от трюма спрячет под невод, а то и невод начнёт за борт выбрасывать — сам пробует рыбачить... Вот какая его помощь.

IV

В июне мы тралили камбалу. Погодки в июне всегда отличные: солнечные, тихие, тёплые. И рыба обычно ловится хорошо в это время года. Мы даже ночевать оставались на банке — отклепаем якорь, прикрепим его к ваеру и бросим в море, ваер-то раз в двадцать длиннее якорной цепи,— чтобы не тратить время на переходы.

В этот день спать легли поздно: пока рыбу в трюм грузили, пока ваер готовили, а тут Кирка чаю предложил. За полночь улеглись, усталые-преусталые, конечно.

Вдруг под утро что-то наверху оглушительно как бабахнет.

— Полундра! — закричал Василий спросонья.— С якоря сорвало, о скалы бьёт... Тонем...

А наверху ещё сильнее: бах! Аж весь «Оймякон» задрожал.

— Спасайся кто может! — кричит Василий.

Выскакиваем на палубу — Миша тащит к трюму бочку с солью. Поднял её и — бах в трюм. Там всё затрещало.

Кинулись к трюму, а там лючины, разбитые бочки, пожарный ящик с песком — разбитый, конечно,— швартовые концы, огнетушители. Всё переломано... И из огнетушителя свистит пена.

— На день работы,— сказал капитан.

— Таких помощников надо на рее вешать,— сказал боцман.

А «помощник» улепетнул на нос, спрятался за брашпиль и выглядывает оттуда одним глазом.

V

Один раз мы еле-еле вырвались с моря. Там творилось что-то ужасное — буранище, липкий снег с дождём. Пришли в Пахачу усталые страшно: почти двое суток в море возились с неводом, который зацепился за скалу на грунте. Как только привязались к причалу, сразу попадали как мёртвые: сквозь дремоту уже я слышал, как к нашему борту, бухаясь, швартовались другие сейнера — они тоже опоздали, у них тоже аварии в море случились.

Утром чуть свет приходят ребята с этих сейнеров, будят нас, ругают на чём свет стоит, чуть ли не с кулаками лезут.

— Что же вы сделали с нами? Ведь мы чуть не погибли! — кричат они.

— Да что случилось? Мы ничего не понимаем.

— Не понимаете? — ещё пуще разошлись они.— А зачем наши швартовые поотдавали? Ведь нас течением в море унесло.

— Ничего мы не делали.

— Не делали...— не верят они.— А что же, швартовые сами поскидывались с кнехтов? А ещё рыбаки! Эх...

А Миша сидел, щурился на солнышко и почёсывал за ухом. Позёвывал.

VI

Миша дружил со всеми из нашей команды, кроме боцмана.

Со мною, например, он любил ходить на берег. Только пришвартуемся, он уже сидит на причале, ждёт, знает, что пойдём куда-нибудь: в магазин, на почту, в кино или на танцы в клуб. В клубе он сидел где-нибудь в углу, где я его посажу,— здесь же витрин с конфетами и прилавков с сахаром нет — и ждал. Иногда вздремнёт, если любопытные не надоедают. В кино же всегда спал, какое бы оно интересное ни было. И храпел. Если насморк когда или после сытного обеда, храпел на весь зал, и зрители возмущались. Но больше всего его тянуло к магазину, конечно. Так заковыляет, увидев надпись: «Продмаг»,— не догонишь. Из магазина же еле-еле двигался и через каждые двадцать шагов садился отдохнуть — «пошлина» мешала идти.

А с Василием они любили бороться. Обнимутся — и покатились, стараясь прижать друг друга лопатками к палубе. Между прочим, Василию ни разу не удалось победить Мишу, даже когда он ещё маленький был: Миша не успокоится и не сдастся до тех пор, пока не прижмёт Васькины руки к палубе. С минуту подержит и отпустит. Довольный-предовольный. Даже нижнюю губу ковшиком выпятит и заворчит. Кстати, выпячивание губы трубочкой и ворчание было знаком восторга и огорчения, испуга и воинственного клича. Всё зависело от того, каким тоном ворчит.

С Киркой же (с Киркой они были такие приятели, что водой не разольёшь) они играли в пятнашки. Носятся

и носятся по судну, надоедят за день. Особенно если Кирка даст подножку Мише или каким-нибудь нечестным приёмом повалит на палубу... Миша найдёт его и догонит — даже на мачте.

Впрочем, в пятнашки Миша любил играть со всеми: это было самое любимое его занятие после перетаскивания концов. Только боцман не играл с ним. Боцман то и дело бранил Мишу то за утащенные брезенты, то за выброшенные за борт лючины от трюма... Играл в пятнашки Миша и с незнакомыми ребятами. Придут они в гости, он подлетит, двинет лапой — и бежать: догоняй, мол, теперь.

Привезли мы как-то селёдку в Пахачу. Уже осень стояла (к осени Миша растолстел, как бочка, и ростом стал почти с корову, хотя с детскими замашками никак не мог расстаться), селёдка ловилась большая, жирная. Пришвартовались к причалу, ждём приёмщика.

— Кто же придёт? — сказал Кирка, присаживаясь на борт.— Не дай бог, Жмотина.

— Если Жмот придёт, то вторым сортом рыбу примет,— сказал боцман.

— Если не третьим,— добавил Василий.

Дело в том, что в Пахаче рыбу принимали два приёмщика. Один из них, которого мы прозвали Жмотом, всегда придирался: какую рыбу ни привези, даже самую наилучшую, всё равно не понравится ему.

И вот он идёт по пирсу, Жмот. К нам направляется.

— Пропала наша рыбка,— сказал Кирка,— теперь всё...

И точно. Только ступил Жмот на палубу, как сразу:

— Опять тухлую рыбу привезли? А мелкой сколько! Центнеров сорок нестандартной будет.

— Да ты что? — не выдержал боцман.— Только ведь сейчас поймали.

— Два дня, наверно, возите! Разве это р-р-р...— И тут Жмот побледнел, стал пятиться назад. Выкатил зрачки и как заорёт...

Я оглянулся — к Жмоту валит Миша. Встал на задние лапы, а переднюю к нему тянет.

— Караул! — кричит Жмот — и бежать.

По пирсу летел так, что ногами досок не касался. Как стрела.

Миша же растерялся и стоит. Не понимал, видно, почему человек не захотел с ним поиграть в пятнашки.

А мы все хохотали.

VII

Идём как-то с Мишей на почту. Дело было в бухте Лавровой. Проходим мимо магазина, а возле дверей — толпа. И всё девушки, и всё молодые. Стоят они большими и маленькими кучками, что-то рассматривают, смеются.

— Что за столпотворение? — спросил я знакомого рыбака.

— Да видишь, какое дело — пароход из Японии пришёл. Привёз губную помаду. Вот все, кто любит красить губы, и прибежали.

— Из-за такого пустяка такая толкучка? — удивился я.

— Какую-то перламутровую, говорят... Ну как рыбачите?

— Ничего,— говорю,— скоро план возьмём. А вы?

Разговорились мы. Я стал расспрашивать, в каких местах они рыбу брали, на какую глубину невод кидали. Одним словом, про свои рыбацкие дела разговорились.

И вдруг страшный — «и-и-а-а-а!» — крик. Потом ещё, да такой, будто кого-то резали! Оглянулись мы — толпа, как осколки от большой бомбы, разлетелась в разные стороны. Спотыкаются, падают, перегоняя друг друга, карабкаются на кучу соли. Целый косяк любительниц помады ворвался в рыбный цех, понёсся прямо по доскам, которыми были накрыты чаны.

А Миша в одиночестве сидел на том месте, где только что была толпа, и недоумевающе рассматривал брошенные с испугу тюбики помады.

— Поскорее-ка сматывайся со своим зверем! — засмеялся рыбак.

Я позвал Мишу. Он бросил помаду и подошёл ко мне. Мы тут же скрылись.

VIII

Происшествие это сразу же облетело всю Пахачу. Теперь Миша мог выходить на берег только в наморднике.

Ничего не поделаешь, сшили ему намордник.

Ох, как же не любил он его! Как он его ненавидел! Только возьмёшь его в руки, Миша делает нижнюю губу трубочкой, закрывается лапой, ворчит и пятится назад. А то заревёт — и бежать. А наденешь — Миша был всё-таки послушный,— ходит за тобой и ходит. Мотает головой и жалобно рявкает.

Ну, реви не реви, мотай головой не мотай, а без намордника на берег не сунешься — ни в кино, ни на танцы. И про пошлину забыть придётся.

Мы с Киркой держали Мишу в наморднике сначала одну минуту, потом пять, потом десять — приучить хотели. И кое-что уже получалось: уже полчаса Миша терпел намордник. Мы радовались.

Один раз хожу я по «Оймякону», ищу намордник — подошло время обрядить Мишу,— а его нету. Всё судно обыскал — нету намордника. А ведь хорошо помню: вешал над дверью рубки.

— Ты Мишкин намордник не видел? — спрашиваю Кирку, чистившего картошку возле двери камбуза.

— Нету,— вздохнул Кирка.

— Как нету?

— Утопил.

IX

У сторожа базы деда Семёна была кошка Люська. Маленькая, беленькая, с розовыми губками и серебристыми усиками. Чистюля страшная, лужи за километр обходила. У неё появились котятки, тоже беленькие и маленькие, как мышонки.

Идём мы с Мишей из магазина.

Из-за обильного сбора «пошлины» Миша еле плёлся. Дышал тяжело, живот его отвисал бочкой и был твёрдый как камень.

Проходим мимо дома деда Семёна. На крыльце со своим семейством расположилась Люська. Они на солнышке грелись. Её малышики, уткнувшись друг в друга носами, спали. Да и она сама подрёмывала, только один глаз на вахте.

Миша увидел их и остановился. Озадаченно — он ведь никогда не видел таких маленьких зверьков — почесал за ухом. Задумался. Потом подошёл к ним и потянулся носом — понюхать, а может, поздороваться хотел. С мирным намерением, разумеется, потянул свой нос к ним, да Люська этого не поняла. Она выгнула спину, взъерошила шерсть да как цапнет своими зубами-иголками Мишу за нос. Ох как Миша рявкнул!.. И бежать. А она ему на спину — Миша заревел так, что всё задрожало. Споткнулся, упал и заревел ещё страшнее. С перепугу он врезался в ярус пустых ящиков — возле рыбного цеха плотники сбивали ящики под селёдку и ставили их ярусами, один на один. Ящики посыпались и загремели.

Все, кто видел это происшествие, схватились за животы, а плотники, что сбивали ящики, даже с верстаков попадали — они дружно вскочили на верстаки, когда Миша пёр на них.

Люська возвращалась к своему семейству прямо по лужам.

Когда я подходил к «Оймякону», Миша уже там был. Он торчал на верхнем мостике, зорко уставившись на дом

деда Семёна. Уши его стояли, нижняя губа окаменела ковшиком, а глаза так и сверлили всё вокруг.

Вот так зверь кошка Люська!

X

На море бушевал шторм. Он бушевал уже три дня и утихать не собирался.

Весь флот толпился в Пахаче, погоду пережидали. Стояли бортами друг к другу; у кого были какие неполадки, ремонтировались, запасались продуктами, водой. А в основном отдыхали — впереди нас ждали последние, самые трудные дни путины.

И вот по флоту пошёл слух: грабитель появился! Причём необыкновенный грабитель: в одну ночь он украл на всех сейнерах чайники с компотом — компот ведь, чтобы он отстоялся и был вкусный, варят за день раньше.

По пирсу ходили озадаченные толпы рыбаков, и все только и говорили про пропавшие чайники с компотом.

Узнав, в чём дело, Кирка улыбался. Свой-то чайник с компотом он поднимал на ночь на мачту, к самому флагу. И делал это, когда Миша не видел, а то бы мы всегда были без компота.

Кирка позвал всех рыбаков со всех судов и повёл их на нос нашего «Оймякона», где за брашпилем было Мишкино лежбище.

И каково же было их удивление, когда они увидели свои пустые чайники, сваленные в кучу.

А Миша, разметавшись, храпел. Из его приоткрытого рта торчал кусочек груши.



XI

Наступила зима, путина подходила к концу. «Оймякон» на зиму становился в капитальный ремонт, мы все разъезжались в отпуск. Стали думать, что же делать с Мишей. В отпуск с собой его не возьмешь: он теперь толщиной был с вагончик узкоколейной железной дороги. Да и не прокормишь: ему ведь на каждый обед или ужин — и на завтрак, конечно,— надо два ведра ухи и ведро компота.

И мы отдали его на поисковое судно «Академик Книпович». Это большой пароход, раз в десять больше нашего «Оймякона». Отыскивая рыбу, плавает он почти по всем морям и океанам. Еды там много, и сами плавания отличнейшие.

XII

Не стало с нами нашего Миши... Ни в пятнашки поноситься не с кем, ни побороться. Я же по берегу ходил в одиночестве, не было со мной моего верного товарища, с которым, правда, хлопот, бывало, не оберёшься. И жизнь на судне пошла какая-то не такая. Не радовало, что огнетушители и швартовые концы всегда на месте, что не плавают за бортом лючины от трюма. А как сядем обедать — кого-то не хватает...

Но особенно запомнилось мне прощание с ним, точнее, та ночь, когда мы видели его в последний раз.

Уже с неделю как Миша жил на «Книповиче». И вот как-то ночью «Книпович» взялся навести нас на рыбу. Подошли мы к его борту передать светящиеся буи, которые он кинет на обнаруженный косяк, а мы уж вымечем невод вокруг этих буёв. А ночь выдалась тёмная-тёмная, какая может быть только глубокой осенью в Беринговом море.

Пришвартовались.

Я осветил палубу «Книповича» прожектором — а на трюме лежит наш Миша. Спит.

— Миша, Миша! — закричал Кирка.— Проснись!

Миша, услышав знакомый голос, вскочил — и к борту. А ничего не видит, видим только мы его, потому что прожектор навели на него.

— Миша, Миша!

Он мечется у борта, мотает головой... Киркин голос слышит, а ничего не понимает. Потом поднял голову, закрыл глаза да как заревёт... Будто его сердце калёным железом пронзили.

Мечется, ревёт, мотает головой...

Мы поскорее ушли от борта «Книповича».

Вот и вся история про нашего Мишу.

СИВУЧ

I

После ужина почти вся бригада сидела за столом. Обсуждали, как избавиться от сивуча.

Сивуч поселился в заливе. Это был отбившийся от стада старый секач. В море еду себе, наверно, он добывать уже не мог и приспособился таскать её из ставного невода. Он не давал покоя рыбакам. По ночам забирался в неводы и пожирал рыбу. Или хуже: делал дырку в неводе — рыба уходила. Ну настоящий пират.

Ночевать разбойник устраивался на кунгасе, который днём обслуживал невод, а ночью оставался на якоре в заливе. Не дурак ведь: на тёплой палубе куда как приятнее отоспаться, чем где-нибудь на холодных камнях.

Каждое утро, как только катер подходил к кунгасу, морской лев шумно плюхался в море и показывался только на секунду, чтобы глотнуть воздуха.

— Матёрый, матёрый,— говорил Константин Семёнович, бригадир невода, наблюдая за сивучем,— голыми руками не возьмёшь.



И вот решили наконец избавиться от него. Особенно много предложений вносил Федя, моторист с катера. В этом году Федя окончил десятый класс и собирался в мореходку, чтобы выучиться на стармеха.

— Константин Семёнович,— суетился он,— а давайте сплетём из стальных тросов ловушку и поставим её на кунгасе. И как только зверюга залезет, мы его и захлопнем. Вот здорово будет!

Бригадир промолчал.

Другие предлагали устроить засаду и застрелить морского льва из карабинов. Только ночь надо выбрать лунную и чтоб тумана не было.

— Да я его топором уложу,— сказал Петро.

Это был первый силач в бригаде. Да и вообще в районе. Этой весной, когда ставили невода, он один носил шлюпки от склада до берега, которые носят обычно шесть человек; зимой на районной ярмарке у него никто не мог отнять палку, а перетягивать ремень с ним даже не пытались.

— Да брось ты чудить! — засмеялись рыбаки.

— Топором?! — удивился Федя, у него даже глаза расширились.— Вот это да — топором!..

Забушевали все сразу. Конечно, Петро — силач, но с топором против морского льва? Ведь это не медведь и даже не морж... Те, что постарше, заулыбались. А Федя так и вспыхнул и поближе подошёл к Петру. Петро же небрежно потянулся, отчего захрустело во всём его могучем теле, лениво поднялся и вразвалочку направился к вешалке.

— Приходите завтра пораньше к кунгасу на катере,— сказал он.— Лев будет ждать вас. И он уже не страшный будет...

— Петя, возьми меня с собой! — попросил Федя.

— Ведь испугаешься!

— Не знаю,— пролепетал Федя.— Попробую не испугаться.

— Попробуй, попробуй...

Петро положил свою ручищу на плечо Феде, отчего Федина голова качнулась.

Они вышли из рыбного стана.

Ночь была тёмная, по-камчатски влажная. Луна изредка показывалась из мохнатых туч, и залив тогда и вершины сопок озарялись синим светом. Под ногами чавкала грязь. Было прохладно.

— Подожди,— сказал Петро и пошёл в сарай, где хранился рыбацкий скарб. Через минуту он вышел с большущим топором.— Вот этой штукой мы и проучим разбойника!

— Вот это да-а! Вот это топорик!

Подошли к берегу.

На тёмной глади залива маячил кунгас. Серп месяца висел над ним. Петро легонько навалился на лодку — она скрежетнула днищем по гальке и закачалась на воде.

Петро грёб молча, Федя ворочал кормовым веслом, выруливая на кунгас.

Подошли к кунгасу, осмотрелись. Сивуча не было.

— Будем ждать,— сказал Петро, взбираясь на борт.

— Петь, страшно что-то! Может, вернёмся?

— Давай отвезу назад! — засмеялся Петро.— Мне одному ещё лучше будет...

— Да нет уж, раз вместе, то вместе, не бросать же друг друга...

— Ну раз так, тогда конечно! — ещё язвительнее сказал Петро.

В крохотной каюте на нарах и на палубе валялись пустые бутылки, старые кастрюли, какая-то ветошь, рабочая одежда.

Федя пошарил в шкафу, нашёл огарок свечи. Зажёг и пристроил на край стола.

— Это ещё зачем? — спросил Петро.

Он улёгся на нарах, вытянув богатырские ноги. Раза два зевнул и через минуту уже спал.

Федя тоже было устроился подремать. Но ему всё ме-

рещилось, как сивуч задерёт из обоих, если Петро промажет или с одного удара не осилит морского льва... Ведь они, эти львы, бывают до семнадцати центнеров, а этот, наверно, и все двадцать весит. И Федя ёжился на нарах.

«Петру-то что, вон он какой...» Федя пощупал свои бицепсы, и ему стало скучно.

Время тянулось бесконечно долго. Скоро уже рассвет, наверно; Федя чиркнул спичкой, посмотрел на часы. Было далеко за полночь.

Вдруг за переборкой послышался шум, плеск воды. Кто-то колотил, будто досками, по воде и фыркал. Кунгас дрогнул, накренился, и раздался такой громкий сап, что Федя не знал, жив он или уже мёртв. Ещё страшнее стало, когда сивуч стал продвигаться по палубе, сотрясая кунгас.

И вот всё притихло. Федя собрался с духом и толкнул Петра. Тот заворочался и заворчал что-то.

— Да тише ты! — зашептал Федя.— Сивуч уже тут.

— Давно? — Петро зевнул и потянулся.

— Да тише, только сейчас!..

— Пусть поспит немного...

Сидели затаившись, не дышали. Петро сжимал рукоятку топора. Наконец он встал и бесшумно шагнул к двери.

— Сейчас мы его...— будто с шуточкой произнёс он, но Феде показалось, что никакой храбрости в его голосе нету.

Федя приник к косяку. Он видел, как Петро крался к темнеющей глыбе на носу кунгаса... Ближе, всё ближе... И вот осталось два шага... Сивуч поднялся огромной горой да как заревёт... Петро бросил топор и назад, в каюту.

Федя едва успел отпрянуть: Петро с рёвом влетел в каюту и двинул плечом противоположную переборку. Несколько досок вылетело сразу, и Петро исчез в проломе.

А Федя вжался в угол. У него даже не хватило духу побежать за Петром. Ему казалось, что сивуч сейчас вломится в каюту, но сивуч плюхнулся в море.

Преодолев тошноту, Федя выскочил в пролом — и на корму.

Ни Петра, ни лодки не было.

II

Что же делать? Ждать, когда придёт катер за сивучем?

Федя вернулся в каюту. Приоткрыл дверь, вышел на палубу, попробовал найти брошенный Петром топор, но топора нигде не было. Наверно, он его за борт уронил. Возвратился в каюту, прилёг на нары.

«А что, если сивуч вернётся?» — думал Федя.

Он встал, плотно закрыл дверь. Нашёл обломок доски, сунул в ручку двери. Попытался закрыть пролом, но это оказалось невозможным: доски сломаны и вывернуты, и ни молотка, ни гвоздей нету.

«А вдруг сивуч захочет ночевать на корме? — подумал Федя и приоткрыл дверь.— Хоть будет куда бежать».

Федя улёгся на нары, потом уселся. Ему всё казалось, что сивуч где-то рядом и вот-вот начнёт взбираться на кунгас.

Опасения его сбылись. Опять послышалось фырканье и плеск. Шум раздавался то с одного борта, то с другого, то с кормы, то с носа — сивуч плавал вокруг кунгаса. Кунгас опять дрогнул и накренился.

Федя кинулся в пролом — к его ногам переваливался через борт сивуч. Лоб сивуча блестел под светом луны, усы раздувались от дыхания. Федя вскрикнул — и назад к двери. А сивуч рявкнул и опять плюхнулся в море. Федя споткнулся, упал, а через секунду уже был на крыше каюты. Как он туда взлетел, конечно, не помнил.

Сивуч несколько раз фыркнул, шумно плеснул задними ластами и больше не показывался.

Федя задыхался от ударов собственного сердца.

Через какое-то время он пришёл в себя. Всё было тихо. Над морем брезжил рассвет.

«Скорее бы катер,— со слезами думал Федя,— скорее бы рыбаки возвращались на невод...» Но время тянулось бесконечно. Болела ушибленная коленка.

И вот над спящим морем проплыл рокот катера, а через несколько минут из-за мыса показался и сам катер.

Федя слез с каюты и стал с нетерпением прохаживаться по палубе. Забыл даже про ушибленную коленку.

Катер приближался, на его палубе — толпа: и Константин Семёнович, и рыбаки, и врачиха в белом халате. Позади всех возвышались плечи Петра.

Катер подошёл к кунгасу, рыбаки обступили Федю.

— Жив!

— Федюшка, жив?

— А то Петро перепугал всех: ворвался ночью, говорит, тебя сивуч задрал.

— Что тут у вас случилось? — спросил Константин Семёнович.— Петро, Фёдор, вы хоть зверя-то видели?

— Я его, дядя Костя, не видел...— сам не зная зачем, сказал Федя.

— Ничего не понимаю! — сказал бригадир.

Федя смотрел на Петра. Петро на Федю. Они понимали друг друга.

ФОСФОРИЧЕСКИЙ ЛОВ

В морях и океанах ловят разную рыбу. И ловят её поразному. Вот, например, тралом: идёт по морю траулер и тащит за собой трал — огромнейшую «авоську». Она, эта «авоська», ползёт по морскому дну и собирает рыбу. Тралом ловят камбалу, минтая, треску, окуня, мерлузу, пикшу.

У берегов Японии и на Южных Курилах ловят сайру.



Её ловят на свет. Сейнер обвешивают со всех сторон прожекторами-люстрами. Как только их включат, рыба собирается под ними. Собралась — люстры, одну за другой, начиная с кормы левого борта, выключают. Косяки сайры переходят на нос, а затем на правый борт, где висит самая главная, самая яркая люстра. Под нею рыба «кипит», её иногда так много собирается, будто со всего океана.

Белый свет гасят, включают красный — рыба слепнет от этого света и начинает бунтовать: выпрыгивает, залетая на палубу из воды, ударяясь о борт, расплющивает длинноносые мордочки.

Красный тушат, зажигают синий — от этого света она утихает — и заводят под неё ловушку. Ну и затем переливают на палубу.

Красную рыбу — кету, горбушу, нерку, чавычу, кижуча — ловят ставными неводами. Их ставят в море, неподалёку от берега. А вот у нас на Камчатке навагу тоже ловят в море неподалёку от берега, но её ловят зимой, подо льдом. Под лёд выставляют вентери — большущие верши, в которые может поместиться китёнок или большая акула,— и рыба заходит в них.

А вот такую солидную рыбу, как тунца, ловят в океане удочками. Не совсем обычными, конечно, удочками: леска длиною километров в пять (на неё навешаны тысячи крючков с наживкой) расстилается по океану... Перемётом называется такая «удочка».

Но самый интересный, самый трудный и весёлый, самый капризный и сложный, где требуется много ловкости, опыта, сообразительности,— это фосфорический лов сельди в Охотском и Беринговом морях.

Осенью селёдка подходит к берегам Камчатки есть планктон, нагуливать жир. Она собирается в огромнейшие косяки. Сколько её в косяке — никому не сосчитать, может, тьма. Вода в этих морях фосфоресцирует, и полчища рыбы движутся белыми пятнами по тёмной, словно дёготь, воде.

Всё лето рыбаки, занимаясь камбалой, треской, минтаем, лососью, рыбачат как-то... спустя рукава. Неохотно будто бы. Но вот наступает осень! Старые боцманы разгибают скрюченные радикулитом спины, обветренные лица капитанов подёргиваются — как рябь в штиль — мягкими улыбками, а матросы в сотый раз проверяют оснастку неводов. Все ждут, когда «она» пойдёт «на фосфор». И сейнера в море выходят торжественно: ни один блок не скрипнет, ни один предмет не грохнет.

Помню, как я попал на этот необыкновенный лов в самый-самый первый раз, когда ещё был молодым матросом.

Вышли мы в море осенней ночью. Темнота вокруг — соседа узнаешь лишь по огоньку сигареты. Идём, крадёмся. Тишина — только приглушённо и мерно на малых оборотах постукивает двигатель да потихоньку шелестит пробегающая мимо бортов пена. Белыми стрелами, играя, подныривают дельфины под судно, за кормою тянется синевато-искристый след от винта. Ребята повисли на мачте, на крыльях мостика, прилипли к поручням и всматриваются: не мелькнёт ли где на горизонте белое пятнышко — косяк сельди?

Вдруг с мачты, где, завернувшись в полушубок, сидел в бочке вперёдсмотрящий, взволнованный крик:

— Справа 30 градусов белое пятно!

Капитан передёрнул ручку телеграфа на полный ход и повёл сейнер к этому пятну. Подходим — это целое поле сельди. Капитан поставил ручку телеграфа на самый полный ход и нажал кнопку аврала. Мы кинулись к своим рабочим местам, хватая багры, выброски, шуровки.

Шлюпочник, самый смелый и ловкий из всех нас, прыгнул в шлюпку: она за корму свисала, в любой момент готовая плюхнуться в кипящий бурун и потащить за собою невод. А сейнер несётся за косяком — надо зайти косяку в голову и закружить его.

Догоняем. Косяк стал сбиваться вправо — этого-то мы

и ждали,— капитан дёрнул ручку телеграфа дважды, что значит самый-самый полный, аварийный ход, и командует:

— Отдать шлюпку!

Боцман рванул чеку стопора, шлюпка полетела за корму и потащила за собой полукилометровый невод.

Сейнер задрожал всем корпусом и понёсся, высыпая невод вокруг косяка: за борт с грохотом летели кольца, грузила. Свистели концы в блоках. Мы замерли на своих местах...

Сейнер обошёл косяк и стал возле шлюпки, окутавшись пеной,— капитан дал полный назад. Со шлюпки подали концы, теперь надо как можно скорее стянуть низ невода, чтобы он похож стал на чашу. Это надо сделать как можно быстрее, иначе рыба уйдёт.

О-о!

Что тут творилось! Все бегали, кричали, что-то тащили из воды, что-то кидали за борт.

Это было моё первое участие в фосфорическом лове, и я растерялся. Я топтался на месте и ничего не понимал. Но тут пробегал мимо боцман. Он толкнул меня в шею, и я сразу всё понял: вместе со всеми что-то тащил, что-то кидал за борт, что-то распутывал, кому-то помогал.

Вдруг рыба из невода стала уходить — вместе с косяком попались сивучи и продырявили невод. Уже пойманная рыбка — и уходит! Чёрт возьми! Палуба превратилась в преисподнюю, а наши парни — в разъярённых духов. Они метались у борта, кричали, кидали в воду багры, топоры, вёсла, чтобы остановить рыбу. А она шла и шла... как пшено из худого мешка. Боцман запустил в воду даже шапку с рукавицами и, топая ногами и подняв кулаки, орал на нас:

— Прыгайте! Прыгайте за борт, черти!

Даже капитан, на что уж бывалый рыбак, повидавший всякие виды в своей рыбацкой жизни, так стиснул челюсти, что даже мундштук треснул.

Но тут подошла шлюпка, и дырки быстренько заделали. Теперь рыбка могла уйти только через воздух... Но через воздух уходить она ещё не научилась. На сейнере всё утихло, «духи из преисподней» опять стали добродушными парнями. Они уселись по бортам и закурили, поглядывали, улыбаясь, как прогуливается косяк в неводе.

Он переливался — фосфоресцировал — северным сиянием под тёмной водой. А до чего же вкусный дымок папиросы в этот момент...

Ко мне подошёл боцман.

— Ты уж не сердись на меня,— дружелюбно сказал он,— но на море бабочек ловить не полагается, сам понимаешь...

Да я и не сердился.

На своём «Оймяконе» нам приходилось тралить камбалу и минтая в Охотском, Японском и Беринговом морях, треску и сайру у берегов Японии. Случалось забредать и в Тихий океан за тунцом. Но больше всего мы любили фосфорический лов, эту сложную и азартную, трудную и милую работу.




Светлое
море



ОДИНОКОЕ ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО

Когда едешь на Ключи — возле орлиного гнезда поворот в правую крайнюю долину. Природа здесь так живописно и запутанно расположила три долины сразу, несколько распадков и целое переплетение речушек и ручьёв, что, если бы не гнездо, поворот трудно было бы найти.

Орлиное гнездо большое. Высотою метра в полтора и почти такой же ширины. Расположено оно на вершине одинокого исполинского тополя. Толстые прутья, из которых сделано гнездо, от времени, погод и непогод высохли, и кора с них облетела. И стали они твёрдые, как кости. Та сторона гнезда, что смотрит в сходящиеся ручьи, похожа на маску с очень грустным выражением — всё как-то обвисло: и брови, и губы, и нос.

Горячие источники, что бьют из земли, или, как их попросту называют, ключи, очень большой целебной си-

лы. Бывали случаи, когда на нарте привозили рыбака, скрюченного радикулитом, а покупавшись в ключах несколько дней, он чуть ли не бегом возвращался домой.

Колхоз построил на Ключах лечебницу для своих рыбаков и проложил дорогу — раньше ездили туда только зимой на собаках или на лыжах, потому что на пути неприступные сопки и глубоченные овраги, да ещё отвесные скалы, даже вездеходу проехать невозможно,— и орлы ушли из своего гнезда. Вообще-то не сразу ушли. Сначала терпели. Только при появлении машин и мотоциклов поднимались под облака.

Но вот неподалёку от Ключей нашли золото, началось строительство промышленного предприятия, стали возить туда всякие материалы (их доставляли на вертолётах): блоки домов, части железной дороги, пучки труб, всякие металлические конструкции. Вертолёты летали над гнездом. И орлы ушли из своего жилья.

Теперь там никто не живёт. Только синица заскочит иногда переждать непогоду или ворона присядет отдохнуть да осмотреться, не нырнёт ли в какой куст какая-нибудь птичка.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Это произошло перед самым вечером, когда темнота ещё не наступила, а день уже кончился. И светло, и тихо — всё замерло. Пролети комар — услышишь, но комаров в это время уже нет. Я сидел у костра и ждал, когда вскипит чайник. Все дневные дела я закончил, устал немного и теперь любовался деревьями, травой, ручейком, облаками. А костерок играл. Дым от него отодвинулся и тонким слоем повис над болотцем. Я смотрел на дым и думал, что болотце живёт ещё по-летнему, воздух над ним теплее, а следовательно, легче, и поэтому дым не оседает там. Деревья в этот вечер были особенно красивые. Такими они бывают раз в году. Оделись в свои самые лучшие,

золотые и светло-оранжевые, наряды и, перед тем как укрыться снегом, блистают последние деньки.

Вдруг я услышал слабый птичий крик. Этот крик был тревожный, будто зовущий на помощь. Поднял голову: идут над лесом две птицы, прямо на меня. Одна из них ворона, другую я не узнал, потому что они летели очень высоко. Ворона догоняла эту маленькую птичку, она-то и кричала так жалобно. Малышка металась то в одну сторону, то в другую, расстояние между ними сокращалось — после каждого поворота ворона выбирала путь напрямую. И обе уже устали. И ворона, и маленькая, расправив крылья, время от времени парили, чтобы отдохнуть. Ворона отдыхала реже... Они пролетели надо мной, и жалобного крика не стало слышно.

Через какое-то время они опять появились. Они летели назад. Теперь ворона была совсем рядом. И если маленькая отдыхала, то ворона не переставала работать своими чёрными рычагами. И будто ещё яростнее, особенно в те моменты, когда у малышки крылья были расправлены. От усталости она шла на снижение. И крик её был всё беспомощнее.



«Сейчас произойдёт страшное,— подумал я,— сейчас ворона схватит её». Маленькая птичка потеряла последние силёнки и пошла вниз. Ворона тут как тут... Малышка жалобно вскрикнула и упала в дым, а ворона, будто натолкнувшись на стену, взмыла вверх. И пошла ходить кругами над тем местом, куда нырнула маленькая птичка. Потом улетела. Молча...

Я подумал, что страх смерти сильнее, чем жажда добычи: ворона испугалась дыма.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Шёл я по тундре. Падал тихий и мягкий снег. Снежинки — большие и нежные, ну настоящий пух. Первый снег, самый-самый первый... Утром тундра была золотая, а сейчас белая.

Нападало снега уже сантиметров на десять, но траву он не придавил, и идти хорошо, ногами двигать легко. Глянешь вокруг — белая равнина без конца и краю. И вдруг вижу: шагах в десяти от меня что-то чернеет. Присмотрелся — движется чёрный комочек. Подхожу, а это землеройка. Спешит куда-то, да так старается, лапчонки-то проваливаются в пушистом «асфальте», даже хвостик борозду тянет. И видно, что идти ей, бедняжке, трудно-трудно, и спинку-то она выгибает, и усами двигает от усердия, и глазёнки выкатила, и даже ноздри ходят.

— Ты откуда это? — спросил я.

Она ничего не ответила, а повернула свою мордочку с чёрными блестящими точками и, не долго думая, передними лапками раз-раз под собой — и нету её. Только одна дырочка в снегу осталась на том месте, где она сидела. «Вот молодец,— подумал я.— Там у неё свои дороги и улицы. Ведь трава для неё — что для нас кусты и деревья».

Смотрю, в полшаге от этой дырочки, куда она нырнула, снег зашевелился, показалась лапка с фиолетовыми коготками, потом другая, а вот и сама усатая мордочка

с чёрными глазёнками — они у неё без зрачков и кажутся глуповатыми. Крутнула она головкой, увидела меня и опять нырь — и нету её.

Чего же это она боится меня, может, с лисой спутала? Хотя сходство здесь сомнительное. Наверное, просто чужих не признаёт.

Через минуту опять, в другом месте, показались её лапки и голова, и опять, увидев меня, она спряталась.

Я ушёл, не стал смущать её.

Но куда же она всё-таки шла? Зачем вылезла на снег?

КАК УТКИ ПРЯЧУТ ОТ ВОРОН СВОИ ГНЕЗДА

Возвращался я как-то из тундры. Была весна, конец мая. Лёд на серединах больших озёр ещё плавал мягкими белыми и ноздристыми полями, а речки свой уже давно унесли. Молодая травка уже прорезалась на просохших местах, солнышко жарило целыми днями. На кустах пушились листочки.

Но сегодня день стоял хмурый, прохладный, с ситом мо-



роси. Уток на озёрах и озерцах не видно, а неделю — дней десять назад там местечка свободного не было. Сейчас они на гнёздах. Прячутся.

Я обходил высоченную прошлогоднюю траву, возле которой чавкала вода, прыгал с кочки на кочку. Вдруг, ломая переплетённую траву над кочкой, вывалилась (именно вывалилась), показывая оголённое брюшко, утка. Она вспорхнула, будто лететь собралась, потом опять упала в траву и поднялась уже из соседнего куста. Быстро и чётко заработала крыльями, сделала полукруг над кустами кедрача и, припав к земле, ушла в тундру.

В кочке было гнездо. Тринадцать чуть синеватых яичек, величиной почти с куриные, лежали красивой кучкой. Они были горячие, морось на них тут же таяла, и был заметен парок. Гнездо глубокое, уютное, из очень тоненьких пересохших травинок — как только утка своим тупым носом могла проделать такую тонкую работу? Высокая трава, что росла из кочки, была так переплетена над гнездом, что сверху его не заметишь.

Я стоял над гнездом. Смотрел на траву, которую утка смяла, когда с перепугу удирала от меня. Но почему она сразу не набрала высоту и не улетела, а по траве побежала до соседней кочки и только оттуда взлетела? Стал присматриваться. В траве разглядел едва заметную проторённую дорожку от гнезда к соседнему кусту, из которого она поднялась. Так вот почему она взлетела не сразу с гнезда! Чтобы никто не знал, где она живёт...

НЕВОЛЯ

В тот раз, когда гостила у меня «защитница» несчастного чирка, хотел я приручить серую утку. Её подранили охотники, да не нашли в траве. В неё попала всего лишь одна дробина, но угодила в крылышко, повредила его возле самого сустава. Утка упала в куст, запуталась в нём. Там я её и нашёл.

Принёс в зимовьюшку. Утка была большая, сильная, упругая и горячая. И мне захотелось её вылечить. Повреждённое место прибинтовал к палочке, а затем и всё крылышко привязал к телу, чтобы не трепыхала им зря: бестолковая ведь. Так здорово это всё у меня получилось, что я обрадовался. «Ну,— думаю,— теперь выздоравливай, Серая Шейка». И стал ухаживать за ней. Посадил её в большой ящик и угощал самыми отменными кушаньями: и хлебом, и печеньем, и сахаром, и супами, и кашами. С лимана принёс два ведра всяких кореньев и травы, которыми все её подруги питаются.

Да не тут-то было — Серая Шейка ни к какой еде не притрагивалась, меня же просто возненавидела: только я к ней, чтоб взять на руки, погладить да приласкать, а она как забьётся в самый дальний угол ящика, жмётся к стенкам и дрожит... И грустнела с каждым днём. И была она уже не упругая, не тяжёлая и не горячая. А глаза помутнели, будто её в сон клонило.

Что же делать?

Привязал её за лапку длинной капроновой ниткой, чтобы по всему озеру она могла прогуливаться, и пустил в озеро. И тут она грустила, не ныряла даже,— нырнёт только, когда я появлялся,— понуро сидела, втянув головку в плечи. Такой жалкий вид, невозможно смотреть на неё...

Отвязал я нитку и отпустил Серую Шейку, благо крылышко зажило. Ох как же она ожила! А к своим подругам приземлилась (точнее, приводнилась), как торпеда. С налёта так и заскользила между ними, раздвигая воду...

ГОЛЕНАСТИКИ

Да что там утки! Утка ведь птицей важной считается и разумной — вон они в какие неведомые страны летают и один раз даже лягушку взяли с собой, да она, дурёха, из-за своего бахвальства не долетела. А тут ведь глупы-

ши, и даже не взрослые, а их птенцы, совсем маленькие, а значит, ничего ещё не понимающие. И вот эти-то глупыши тоже не любят неволю — да ещё как! — ну прямо ненавидят её.

Поймали мы весной двух глупышей на острове Верхотурове, где, наверное, миллион лет уже существует птичий базар. Рыбачили возле этого острова и сошли как-то на берег. Что там творилось на этом базаре — уму непостижимо, что там творилось! И глупыши там бегают, прыгают с камня на камень. Большущие, почти со взрослого цыплёнка, длинноногие и толстоногие, поэтому-то мы их и прозвали «голенастиками». И уродливы они до смешного: кургузые, клюв большой, верхняя половина клюва крючком, сами совершенно без перьев, будто купаться собрались... А бегают... Как припустят на своих длинных ногах, только «пятки» сверкают.

Ну вот. Поймали мы их. Ясное дело, сопротивлялись они преотчаяннейше, когтями скреблись и крючковатыми носами своими руки порвали нам до крови. А ведь совсем



недавно, когда скакали с валуна на валун, характер у них был весёлый и общительный, но тут как с ума посходили, одна злость так и летела из раззявленных клювов: «Ка-а-р-р!..»

Принесли их на судно, поместили в отдельной каюте и стали угощать. И той пищей, что сами едим,— рыбой, печенью... Да мало ли ещё чем! Изо всех сил старались угодить. Но голенастики даже не замечали наших угощений. А только старались цапнуть за руку своими клювами-кусачками. Маленькие, глупенькие глупыши к еде даже не прикоснулись, а нас возненавидели.

Ну то, что они нас возненавидели, это естественно: мы у них свободу отняли. Но зачем же голодовку объявлять? Ведь есть надо во всех случаях. На свободе ведь разными отбросами питались, что море выкинет на берег, а тут им рыба не рыба...

Ничего у нас не получилось.

Голенастики с каждым днём становились печальнее, поникли, как мокрые курицы, кричали меньше, уже и голоса у них стали слабее. А сами всё неприступнее — хрипит в руках этот глупышонок, таращит глазёнки и становится всё неумолимее. И чувствуешь, что он умрёт, но не покорится. И никакими пряниками его не заманишь!

Отвезли мы их на остров: живите на свободе, маленькие голенастики.

ВАЛЕТ-БРАКОНЬЕР

Когда Михаил Степанович ругает своего любимого пса, ушастого, серого в пятнах спаниеля по прозвищу Валет, он называет его не «браконьер», а «браконьёр» — так получается сердитее.

А пёс этот поистине необыкновенный. И послушный, и понимающий — всё понимает, только сказать не может,— и умница. А уж преданный, боже ж ты мой! Ну ни на шаг от хозяина — как рыба-прилипала. И выполнить го-

тов любые приказания. Лежит у ног Михаила Степановича и ждёт, смотрит ему в глаза, переваливает свой мохнатый хвост из стороны в сторону. Степаныч — обуваться, Валет уже сапог тащит, Степаныч — к двери, Валет лапой дверь толкает.

Начнёт Михаил Степанович закуривать и уронит спички, Валет тут как тут, держит их в зубах, да ещё на задние лапы встанет, а в глазах написано: «На, возьми». А уж охотник, уж любитель природы — и не найти такого. И ведь изучил-то своего хозяина лучше, чем сам Степаныч самого себя: встал Степаныч со стула, Валет уже знает, что он пойдёт к вешалке, Степаныч — к постели, Валет тащит шлёпанцы. Мне даже кажется, что эта необыкновенная собака и разговор понимает, отдельные слова во всяком случае, потому что несколько раз я замечал, что при словах «охота», «тундра», «ружьё», «лодка» Валет вскакивает и радостно взвизгивает. А иногда — прямо к двери и пританцовывает возле неё, нетерпеливо взвизгивает, ждёт, пока Степаныч прилаживает патронташ. Вот какой Валет!

На охоте же неутомимее, сообразительнее, старательнее и усерднее нету существа во всей тундре. Он даже куликов умеет нагонять на хозяина (про уток я и не говорю, он их находит даже там, где их нету) — кулик ведь птица «воздушная», в том смысле, что её «берут» с воздуха: сидит охотник в кустах и ждёт, когда она налетит на него. А Валет забегает, сделав большой круг-обход, впереди Степаныча и идёт к нему восьмёрками — на самом деле он чует птиц и подбегает к ним, а со стороны кажется, что он зигзаг выписывает,— и гонит куликов на Степаныча. Другие охотники сидят в кустах, ждут, когда куликам захочется подлететь к ним, а это примерно то же самое, что ждать у моря погоды. Вот какая эта собака... Один раз приволокла надувных резиновых чучел — ну не смешно ли? Нет, Валет их не спутал с настоящими утками, а просто всякая вещь в хозяйстве пригодится. Это, правда, нехорошо: он же утащил их у зазевавшегося охотника,



без всякого ведь разрешения! Но до чего только не доведёт любовь к своему хозяину!

В конце лета на нерест идёт красная рыба. Рыба в мелких тундровых ручьях и речушках мечет икру — трётся брюшком о донные камешки. И Степанычу с Валетом в это время одно беспокойство. Степаныч запрещает ловить рыбин, а Валет их всё равно ловит. А зачем рыбин ловить? Кому они нужны? И как только Михаил Степанович ни стыдит Валета да ни ругает, какие только строгие наказы ни даёт, ничто не действует на охотничье Валетово сердце. Сто́ит Степанычу чуть отвернуться, как Валет тащит рыбину на берег.

— Отнеси на место, браконьёр,— скажет Михаил Степанович.— Браконьёр... чистый браконьёр.

Один раз шли мы со Степанычем по тундре. Разговорились, про Валета-то и забыли.

Слышим — чайки орут.

— А ведь это работа моего браконьёра,— сказал Михаил Степанович.

И точно. Подошли к тому месту, где кричали чайки. Там большущая куча рыбы, чайки из-за неё ссорятся, а Валет таскает, старается, рад, что про него забыли.

— Отнеси всё на место! — приказал Михаил Степанович.

Пыхтит Валет, разносит рыб по всему ручью, где их наловил... А куча-то большая.

ЛЕБЕДИ

Собирал я рябину. Уже прошли первые заморозки, и лес стоял голый. Трава вокруг — будто обсахаренная. Ягоды после мороза прямо звенели, когда я бросал их в брезентовый рюкзак, а кисти были такие большие, что не вмещались в ладонь. По краю поляны кусты росли густые и высокие, они будто протягивали свои ветки из-за деревьев к солнышку, и грозди были побольше — понятное дело, на солнышке росли.

И вдруг слышу: «Иглы... иглы...» Лебеди! Так кричат только лебеди! Поднял голову — никого. И опять: «Иглы... иглы...» Теперь уже громче. И вот они! Выплывают с той стороны поляны из-за деревьев. Идут на меня, да так низко, что кинь шапку — и достанешь. Большие, плавные, белые, с чёрными носами... Цари-птицы!

Они шумят-свистят надо мной, видны прижатые лапки к брюшкам, и каждое пёрышко видно. А крылья выгибаются волнами так изящно и ласково, будто воздух поглаживают.

Лебеди прошли надо мной. Я выдохнул весь воздух при виде этой красоты.

Мне было необыкновенно хорошо.

О лебедях я рассказал Михаилу Степановичу.

— И я радуюсь, когда лебеди пролетают надо мной. Так радуюсь...— сказал он.

И улыбнулся.

БРАКОНЬЕРЫ

Больше всего в жизни Михаил Степанович ненавидит браконьеров, и буква «ё», когда он произносит это слово, звучит с величайшим презрением.

— Ведь что делают, что делают эти подлецы браконьёры! — говорит он.— Наловчились с вертолётов оленей стрелять. И только из-за рогов — ни мясо, ни шкуру не берут. Только рога... Выберут олешка с самыми красивыми рогами и гвоздят его из своей кабины. Мясо и шкуру воронью́ да росомахам оставляют.

Медведя тоже очень хорошо с вертолёта стрелять: в тундре-то ему спрятаться негде. Перевернётся он на спину и отмахивается лапами от пуль.

Да и не только лётчики-вертолётчики. Наши тоже хороши — медведей додумались петлями ловить.

Степаныч вздыхает:

— Поставят петли да и забудут про них. Обхожу я один раз участок, по медвежьей тропе шёл, а она, медведица, висит в петле, задохнулась уже, а двое мальцов хлопочут возле неё, пищат.

ХИТРАЯ-ПРЕХИТРАЯ ЛИСА

— Какая уж там хитрость! — продолжает Степаныч. Он отвечает на моё предположение, что лисы сейчас водятся в основном в лесу, возле самых гор, а в тундре редко их встретишь, и это потому, что хитрые, мол, они.— «Буранами» почти всех лис перевели...

«Буран» — это современное средство передвижения по тундре, проще — снежный мотоцикл. Только вместо колёс — широкие резиновые эластичные гусеницы, вместо переднего колеса — широкая лыжа. Руль и сиденье как у мотороллера, носится по тундре, по любым сугробам с возможной для мотоцикла скоростью. Удобнейшее средство езды, достижение цивилизации, а для всего бегающего по тундре — страх и ужас.

Зайчиков и лис «буранисты» не стреляют, а едут рядом, посмеиваясь да убавляя и прибавляя газ и подруливая, и ждут, когда бедный зайчишка откинет лапки от усталости или лиса высунет побелевший язык и повалится бездыханная. Такое вот это достижение прогресса...

— Раньше надо было запретить продажу «Буранов» частникам,— продолжает Степаныч.— Опомнились, да поздно. И зайчик-то забился в чащобу, уже за сараями следов не увидишь... А то вот ещё мода пошла на женские лисьи шапки. Да разве в тундре хватит зверюшек, чтобы все женщины ходили в лисьих шапках? Кроме выдры да мышей-полёвок, никого не осталось в тундре. Разве что птицы. А раньше-то сколько зверья было! Целые заячьи шляхи. И лисичка... А теперь лисичка переселилась в лес. И чёрно-бурая, и огнёвка. Взяла да и ушла — вот и вся её хитрость.

ОГНЕВКА

Мою посуду на берегу ручейка и слышу за спиной: по камешкам цок-цок-цок... Так это нежненько и тихо, чуть погромче часов. Повернул голову — идёт по бережку ко мне лиса-огнёвка. Увидела меня, подняла голову и стоит с поднятой лапкой. Смотрит. Глаза колючие-колючие, и ушки торчат. А сама ярко-красная, только грудка чуть жёлтая. В глазах же не удивление, не испуг, а просто недоумение. И строгость.

Смотрела, смотрела, потом прыгнула, чуть пригнув голову, и опять цок-цок по галечке, по бережку... И даже хвост не подрагивает при шагах.

СТРАЖНИК

— И выдры меньше стало,— с грустью говорит Михаил Степанович.— А сколько её было, сколько её было. В природе же оно разумно да равномерно устроено всё:

выведи ты ворону, и уточка пропадёт. Ворона-то задирает больную утку или там не годную какую для жизни, а здоровую-то она не возьмёт. Так же и с волком... Вон в Московской области лось стал пропадать, потому что волка не стало. Завезли туда волков на развод, в журнале целая статья про это. Так же и с выдрой у нас получается. А сколько её было, сколько её было! Один раз иду я по тундре, а их семейство в ручейке барахтается. Отдыхают, значит. Остановился я, смотрю и... и уйти не могу. Веришь ли, нет ли — не могу уйти.

Михаил Степанович до самозабвения любит всякую живность в тундре. И очень переживает, что за последние годы её меньше стало. К браконьерам он беспощаден. И когда охотоведом работал, и лесником, и сейчас вот, когда на пенсии уже, по собственному желанию исполняет должность общественного инспектора. Строг он не только



к злостным, умышленным нарушителям, но и к тем, кто портит природу ненамеренно, нечаянно, что ли. Вот ходит, осматривает, например, сенокосные угодья и, если косарь нечаянно смахнул вместе с травой деревце, которое и не разглядишь в большой траве, всё равно штрафует. И никто никогда на него не обижается.

Добрый он. Говорят, всяких людей много: умных, талантливых... Добрых только поменьше. В характере же Михаила Степановича есть ещё какая-то особая мягкость, с ним поговорить хочется... даже постоять рядом.

В тундре, на опушке леса, где самые заросли рябины и жимолости, этой вкуснейшей ягоды (между прочим, вишнёвые наливки и варенья в сравнение не идут с жимолостными), где берёзы и ольхи толщиной в обхват, а сама тундра усыпана голубицей, шикшей и морошкой, Михаил Степанович построил зимовье, маленький домик,— турбазу, что ли, в миниатюре. В ней всё для того чтобы отдохнуть: камин, плита, посуда, нары для спанья. Пожалуйста, приходите, люди, собирайте ягоды, рыбачьте, охотьтесь, варите уху — отдыхайте.

Весной, в апреле, сюда приходят загорать. Солнышко жарит весь долгий день, снег искрится (лучи, что отражаются от снега, тоже попадают на загорающего, и получается двойной загар), и сам воздух тёплый. Катаешься на лыжах в плавочках или с книжечкой лежишь на топчане.

И много людей бывает здесь. И зимой, и летом — в любое время года. И школьники совершают сюда свои запланированные и незапланированные походы.

— Смотрю я на них,— продолжает Михаил Степанович свой рассказ про выдр,— и наглядеться не могу. Уйти не могу. А они-то, малыши-то, и на спину к матери вскарабкаются, и на брюшко, и так около неё, и эдак. И она к ним и так, и эдак, лапками их гладит, покусывает в шутку, облизывает. И на грудку к себе положит. А отец семейства стражником стоит, так и смотрит во все сторо-

ны — уши навострил и глазами-то, глазами-то во все стороны... Ну чистый стражник.

Да, вот смотрю я на них и думаю, до чего же это хорошо, сколько любви у них... прямо как у людей. У хороших людей... Особенно занятны мальцы — ну дети, чистые дети.

Отец же караулит, всё по сторонам, всё по сторонам глазами зыркает...

Целый бы день смотрел я на них...

ДРУЖБА

— Или вот тоже у оленей...— продолжает Михаил Степанович.— Иду я один раз по дальнему участку возле гор, смотрю: олень лежит, а другой рядом стоит, склонился над ним. То облизывать его начнёт, то шеей об его рога потрётся, то рогами начнёт его трогать. Да так ласково, нежно... Что такое? Не пойму.

Подошёл я поближе. Тот, что стоял, неохотно отошёл в сторону, а тот, что лежит, трепыхнулся и затих, смотрит на меня. А глаза! Какие у него были печальные глаза... Прямо невозможно смотреть... Ну вот. Осмотрел я его. А у него ножка в расщелину между камней попала, и вытащить он её не может. Второй олешка стоит рядом, не уходит, не боится меня и тоже смотрит печальными глазами.

Я скорее в зимовье за инструментом — ведь голыми руками ничего не сделаешь. А идти километров десять, да весна к тому же, ручьи уже взбухли. Помаялся я, пока туда да назад обернулся, еле успел за сутки. И ночью шёл. Принёс лом, зубило, молоток, освободил ему ножку. Встал он, шатается. Второй сразу же подошёл к нему. Побрели они, один на ножку припадает...

МАТЬ

— А один раз я за медведицей наблюдал. Ну, человек — и всё тут... Мать, настоящая мать.

Я уже на пенсию тогда уходил, новому охотоведу угодья сдавал, знакомил его с участками. Пробираемся по тундре, летом дело было, дорога по ней известно какая — через кедрачи не пролезешь. Решили идти по пересохшей речке. Она не совсем пересохла, на дне её ручеёк плещется. Добрались до речки, стоим на крутом берегу. Глянули вниз — бог ты мой! Там она, медведица, купает своих мальцов. Увидела нас, да как начнёт их загораживать собой. Встала на задние лапы, а передние расставила, будто не хочет подпустить к ним. И ревёт. И пятится назад.

А медвежата, глупые, лезут к нам, а медведица кидает их за себя, ревёт и пятится, лапы расставила — загораживает собой. Ну, как человек, как мать всё равно!

Да и кто же она, коли не мать?



— Он ведь никого не трогает,— говорит Степаныч о медведе.— Это про сибирских медведей рассказывают, что кидаются они на людей, а наш... Смирнее его ведь и зверя нету...

Несколько лет назад такой занятный случай произошёл с дояркой в нашем колхозе. Летом коровы у нас пасутся в тундре. Там же у них временные загоны. Молоко возят на машине или, когда стадо перекочёвывает в отдалённые места, куда нет хорошей дороги, на вездеходе.

Ну вот. Сидит доярка на скамеечке, доит корову. Чувствует, что сзади кто-то смотрит на неё. Оглянулась — медведь. Заглядывает через плечо. Она перепугалась. Встать да бежать — тоже боится. Стала доить ещё быстрее и приговаривает: «Миша! Миша...»

А пастух один раз нос к носу столкнулся с медведем. Шёл он в задумчивости за стадом — и прямо на мишу, тот тоже в задумчивости какую-то кочку расковыривал. Оба стоят на расстоянии в полшага и смотрят друг на друга. Потом пастух пошёл своей дорогой, за стадом,— коровы мишу обходили и никакого внимания на него,— а миша опять занялся своей кочкой.

Это он из любопытства к доярке подошел да заглядывал в ведро,— говорит Михаил Степанович, когда мы вспомнили эти случаи.— Молодые медведи, двухлетки чаще всего, любопытные. И со мной тоже случай был. Столкнулся я с ним, а он, вместо того чтобы убежать, подходит ко мне. Подошёл на пять шагов, встал на задние лапы и смотрит на меня. Я на него стараюсь не смотреть, в глаза не смотрю, потому что медведи не любят, когда им в глаза смотрят. Постояли, постояли, потом я пошёл. И он за мной. Так и идём. Потом я запел, он идёт следом. До самого посёлка меня сопровождал! А я иду и пою себе...

КАМЧАТСКИЕ ВОРОБЬИ

Вора бей... Ну, а что он ворует-то? Ну, тот воробей, что на базарах промышляет, утащит там просыпанные зёрнышки — всё равно ведь пропадут — или кусочек хлеба в дорожной пыли отыщет, разве это вор? Да и те воробьишки, против которых на огородах сооружают страшные чучела, ведь тоже зёрнышки подбирают. Разве это воровство — зёрнышко подобрать!

Ну, это всё относится к материковым воробьям, а вот какая доля досталась нашему, камчатскому воробью? Ни базара, ни возов с зерном, ни огородов у нас нету. Одна тундра.

Летом ещё куда ни шло, можно промышлять там букашками-таракашками, а вот каково зимою, когда, куда ни глянь, на сотни километров — белое безмолвие. Вот тут как быть? Даже от совы или ястреба спрятаться негде — вот где бедному воробьишке достаётся! Школьники зимой, правда, подкармливают их, кормушки сооружают: в снег втыкается палка, к ней горизонтально крепится фанерка, а на фанерку кладётся всякая еда. Но всё равно трудно жить воробьям. Особенно в лютые морозы и многодневные пурги.

И всё-таки они жизнерадостные.

Как-то прилетели они ко мне в зимовье. Весёлые, беззаботные, шумливые, иногда, правда, бранчливые, но их брань совершенно беззлобная. Никакие жизненные невзгоды не сломили их жизнерадостного характера. А ведь жизнь-то у них, если подумать хорошенько, трудная, даже очень трудная. Ведь, кроме того, что еды мало, вся их жизнь проходит в постоянном страхе: лисы бойся, соболя бойся, совы бойся, от вороны убегай, от ястреба прячься. Не успел нырнуть в кедрач — и считай, тебя нету. Не жизнь, а сплошная душа в пятках.

Но всё равно жизнерадостные они.

Значит, прилетели они ко мне из тундры весёлой, шумной компанией, расположились кому где удобнее и, конеч-

но же, расшумелись. Разбились на группки, и началось тут...

Что тут началось! Обсуждали всякие проблемы до хрипоты в глотчонках, с раздиранием клювов и поднятием хвостов и даже выясняли отношения — двое хорохористых, распустив крылья, пригнувшись и выпучив глаза, стали наскакивать друг на друга с отъявленнейшей бранью.

Ну, основная-то масса занималась мирными делами. Впрочем, и эти забияки через секунду помирились и совместно стали обследовать пустую консервную банку и весело переговариваться. Другие также, осмотрев, потрогав и изучив всё вокруг избы, весело зачирикали. И во всём их шуме-суете, поспешных прыганьях-скаканьях, спорах-сварах, даже в драке, что непозволительна среди друзей-товарищей, было что-то лёгкое, бесхитростное, бескорыстное — может, и не совсем серьёзное, да что за дело! — но зато всё доброе. Это так и бросалось в глаза.

Значит, суетятся они. Я стою на крыльце, смотрю на них. Вдруг один воробьишка скок с крыши ко мне на шляпу и продолжает чирикать так же громко и весело, как и на крыше. Сидит на моей шляпе (в тундре нужно носить шляпу: к её полям удобно пристраивать накомарник — он не касается лица), и воробьишке решительно нет никакого дела до того, что он сидит на чужой шляпе и, возможно, доставляет кому-то неудобство. Впрочем, он мне не мешает. Но я нечаянно пошевелил головой, и воробьишка, капнув на шляпу,— вот ведь нахал! — перепрыгнул на дерево и продолжает себе речь, которую начал ещё на крыше. И никакого внимания на меня.

Пошумели они, пошумели и улетели. Куда? Да разве я знаю...

ХОЗЯЙКА

Самое необыкновенное это то, что она у меня утаскивала корки хлеба, кусочки печенья, конфеты и прятала в мой же сапог. Сначала я не обращал внимания — думал, может быть, сам уронил,— но вытаскивать кусочки и конфеты из сапог приходилось каждое утро. Я стал следить, проверять сапоги перед сном — и нá тебе: один раз ночью проснулся, свеча горела, специально оставил,— она тащит шоколадину в сапог! Занятно!

Вообще-то она жила не в избушке, а рядом, в кочке, через ручеёк. Но зимовье считала своим домом, распоряжалась в нём как хотела, хозяйничала, когда меня не было или когда я спал. Я, между прочим, ничего не имел против её досмотров-осмотров, даже не сердился, когда она прогрызла мешок с рисом,— риса просыпáлось немного, да она и подбирала его.

И ещё одно, чего я не знал и не мог даже предположить,— скажи мне об этом кто, не поверил бы,— она умела бегать прямо по воде. Сижу я как-то возле костра перед вечером, слышу: зашебаршила она в своей норке пересохшей листвой, потом показалась на берегу ручейка — ручеёк шириною в полметра, может, чуть шире,— повертела, повертела своей усатой мордочкой и топ-топ-топ по воде на мою сторону. Вот это да! Обыкновенная тундровая мышка-полёвка умеет бегать по воде. Ну и дела!

Кстати, в избу не пошла — видно, уже побывала там,— а направляется ко мне. Вообще-то не ко мне — нужен я ей! — а к костру, потому что здесь я по вечерам пью чай и на пне, который служит мне столом, нет-нет да и останется что-нибудь вкусненькое. В общем, на промысел она шла. Но увидела меня, остановилась, навострила уши и смотрит. Смотрела, смотрела — я не шевелюсь — и нырь ни с того ни с сего в траву. Зашумела там. Совсем рядом высунулась из травы, лапчонки переломила в суставах и положила на сухой лист. Смотрит. И усами даже не шевелит. Шёрстка на ней чистенькая, даже глянцем искрится,

под грудкой чуть посветлее, а на мордашке, на скулах, желтоватая. Ушки маленькие, глаза без зрачков, и создаётся впечатление, что задумчивые и «себе на уме», как говорится. И внимательные-внимательные. Смотрела, смотрела и раз — нету её. Только слабенький шорох в траве.

Видел я её каждый день: и как избу обследовала, и как ручей переходила, и как, согнувшись, на пне возле костра сидела, что-то там делала, и я никак не мог понять, чем она так старательно занималась.

А в зимовье решил я её больше не пускать — надоело мне и сапоги осматривать каждое утро, и мешок продуктовый зашивать каждый день,— взял и заткнул все дырки, что по углам и в полу были. Ну, думаю, подруга, ты уже ко мне не проберёшься! Да не тут-то было, всё равно она ухитрялась пробираться в избушку и принималась за свои привычные дела. Ну что тут скажешь!



И вот однажды я увидел, где она пробирается. Проснулся, а она обследует стол. Увидела, что я проснулся, и бежать... Подбежала к двери, взлетела вверх по ней и ускользнула в щель между косяком и верхней доской.

Вот где проход-выход нашла!

ХОЗЯИН

А вот это уж настоящий хозяин, истинный, ничего не скажешь.

Ну, прежде всего сам вид: взгляд престрожайший и превластнейший и даже недовольный, какой и должен быть у хозяина, потому что во всяком хозяйстве всегда найдутся какие-нибудь неполадки и есть на что сердиться. Сам он весь белый, белее снега, стоит перед крыльцом избушки столбиком. Брови насуплены, и мордашка была бы устрашающей, если бы не нос, он-то всё дело портил. Фыркал смешно.

— Доброе утро! — сказал я ему, когда вышел с чайником за водой.

Я догадался, что это самый главный житель в зимовье — горностай. О нём Степаныч много рассказывал. Летом он обычно бродяжничает по тундре бог весть где, а с первым снегом всегда возвращается в избушку. Я брякнул чайником — ни малейшего внимания.

— Ну и стой! — сказал я и зашагал к ручью.

Горностай, сделав несколько дуг-скачков,— кажется, что его бег состоит из белых дуг, когда смотришь,— забежал вперёд меня, махнул на ту сторону ручья и опять стал столбиком. Брови насупил. Только набрал я воды, он старой дорогой махнул к избушке и нырнул под крыльцо — это его парадный вход.

Жили мы с ним мирно. Он меня не боялся, привык к тому, что в зимовье постоянно кто-нибудь живёт. Ничего у меня, конечно, не трогал. После первой встречи, когда он внимательно изучил меня, смотрел уже не так сердито.

Встречал и провожал всегда стоя столбиком перед крыльцом.

С его появлением моей прежней хозяйки, серенькой красивой мышки-полёвки, которая пыталась устроить хранилище своих запасов в моих сапогах, и след простыл...

СКРОМНИКИ

Я никогда не думал, что снегири умеют петь.

Появились они возле зимовья, как и горностай-хозяин, с первым снегом. Уселись на голой, очень удобной ветке берёзы возле избушки — до снега всю осень на этой ветке сидела серая сова — и сидят целыми днями. Как большие красные яблоки, что остаются иногда на ветках, когда листьев уже нету.

Первый снег... Что же он сделал с лесом и тундрой!

Тут надо немного рассказать о нашем камчатском лесе, потому что он совершенно не похож на обычный лес. Растут там ольха, берёза, кедрач и рябина. Трава по пояс и заросли кустов, через которые не проберёшься,— не в счёт. Кедрач, хоть и не высокое дерево — стелется по земле,— но скрюченное-перекрюченное и до фантастичности уродливое. И красиво-уродливое, потому что наросты на стволах чего только не изображают. И почти точно так же стволы перекручены у берёзы. Иногда, круто выгибаясь, они идут вниз, стелются над землёй — и опять вверх. И красиво-уродливые раздутости стволов, зачастую величиной с бочку, наросты на изгибах и сами изгибы так же напоминают или животное какое, или уродливую фигуру, а иногда просто пресмешную рожу.

Берёза растёт повыше кедрача, вторым этажом так сказать. У ольхи, кстати, стволы тоже уродливые. Словом, смотришь вот на это «произведение» природы и удивляешься, на что она способна. Такой лес был бы хорош для съёмки фильмов про Кащеев Бессмертных и леших, про Бабу Ягу.

И вот этот первый снег, выпавший слоем в полтора метра,— шёл он три дня — сделал сказочно-красивый лес ещё красивее, ещё сказочнее. Все наросты, выгнутости, рожи-фигуры — в общем, все эти «чудо-юды» покрылись снегом и стали ещё страшнее, ещё расчудеснее.

И как только всё преобразилось от снега, стало так необычно, прилетели снегири. Уселись на одинокую ветку, где вчера ещё сидела серая сова, и сидят. Большие, красные, только посредине грудки осталась серая полоска летнего меха, а зимний, такой плотный, яркий, горит, от снега переливается.

В это утро встал я (ночью снегопад кончился), солнышко пробивается сквозь ветви, оно только показалось, радостное такое... Снег белый до синеватости и горит, искрится. А воздух, воздух... Сидят снегири. Тишина. Будто всех околдовал первый снег.

Смотрю я на них и вдруг слышу: «Пи-и-ик... пи-и-и-к». Еле-еле слышно. Вроде никаких обертонов и трелей там нет, но так чисто и так певуче звучит это «пи-и-ик». Так здорово! Осматриваюсь вокруг, никого нет. И опять: «Пи-и-ик». Да кто же это?!

Присмотрелся, а у снегирей под подбородочками вздувается нежный красный пушок при этом скромном «пи-и-ик». Еле заметно. Сами же неподвижны, будто и не они произносят эти певучие звуки.

Смотрю я на них и думаю: такие красивые — и такие скромники. Ведь синица, например, куда непригляднее, а уж так носится со своими попискиваниями: то вверх, то вниз, то тут мелькает, то там. Или взять хоть того же воробья, ведь ни слуха, ни голоса, а такой шум-гам устраивает своим неугомонным, надоедливым «чирик-чирик», хоть прячься. А сам-то! На кого похож-то? Особенно если очень старается да ерошит свои никудышные перьчонки, а если ещё после драки, когда половины и этих-то нет и хвост не весь, а он его ещё поднимает... Носится как сумасшедший со своими «чирик-чирик».

А эти такие красавцы — и такие скромники!

КУРОПАТКИ

Ну и устроили же они шурум-бурум с моей рябиной.

С первым снегом, когда тундру завалило и ягоды всякие тоже, они переселились в лес.

По ночам они устраивали концерты. Это было что-то невероятное! Прямо спать не дают: «Га-га-га, го-го-го...» Разной громкости, с разными оттенками и разной продолжительности эти «га-га» и «го-го». Конечно же, разговаривают. С утра налопаются ягод, днём в снегу (они норки в снегу роют и сидят в них) отоспятся, а ночью давай переговариваться.

Не выдержал я. Выбрал лунную ночь — ну и ночка была! — и пошёл посмотреть, чем они там занимаются. Весь лес со всеми чудами-юдами, лешими и кащеями, со всеми смешными и несмешными рожами горит и блещет синим пламенем. И искрится. Тени от деревьев и кустов — чёрные. Ночь морозная, снег твёрдый — такого и в сказке не расскажешь.



Брожу я... Эти «га-га» да «го-го» вроде рядом, за кустом, в тени, а заглянешь туда — никого нету. «Га-га» и «го-го» из-под соседнего дерева доносятся. Шагнёшь туда, и там никого нету. И вот уже опять слышишь, под другим кустом. Убегают, значит. Увидеть их невозможно: они ведь белые как снег и лапки у них до самых коготков — даже коготков не видно — покрыты белым пухом. И нос желтоватый, почти белый,— ну как тут их увидишь?

И сколько я ни бродил, даже бегом кидался под кусты, откуда доносилось «го-го», ничего не увидел — вот как здорово умеют играть в прятки.

Так вот, о рябине. Собирал я её, когда уже снег выпал. От мороза она потеряла кисловатый вкус, стала сладкой. Собирать её хорошо, листья не мешают, на ветвях же она держится до самого февраля.

Насобирал много, за один раз не унести, но собирать продолжал, потому что день стоял хороший — в метель или в пургу много не насобираешь, а перенести ягоды в избушку проще простого.

Увлёкся, не заметил, как день к концу подошёл. Ту рябину, что не унести, насыпал на разостланную рубаху, больше у меня ничего не было. Рюкзак на плечи — и пошёл. Завтра, думаю, приду за этой. Брать её некому, метели, судя по небу, не ожидается.

Прихожу наутро — и что бы вы думали? Самые сердитые и работящие куры так не издеваются над кучей мусора, как эти куропатки расправились с моей рябиной. Они её раскидали-разгребли и перемешали со снегом. А под рубахой моей устроились ночевать, норки вырыли под нею. Ну не насмешка ли над моими стараниями? Подхожу, а они из-под рубахи — фр-р-р... Полетели.

Вот так-то они поступили со мной.

А по ночам по-прежнему разносилось: «Га-га-га-га... Го-го-го...» Даже ещё насмешливее.

НЕПОСЕДЫ

Непоседливее синицы нету птиц. Кроме воробья-безвредника, разумеется. Ну и полсекундочки-то она на месте не посидит: то вверх, то вниз, то прыжок в сторону, то чуть ли не вниз головой по стволу побежит, то боком скакнёт на ветку, то спрячется за ветку, то на верхушке куста вниз головой повиснет. И эдак целый-прецелый день. А энергии сколько надо? Выносливости?

С темна до темна суетится...

Я, например, собираю рябину. Через часик-другой устанешь, хочется посидеть на поваленном дереве или костерок разжечь, чайничек вскипятить. А тут ведь без передышки...

А ведь это она не зря носится-вертится. Она насекомых ловит да их яички в коре ищет, насущную еду себе добывает.

ПРЫГУН

Во время пурги или снегопада зайцы сидят в снегу. Выроют норку-домик и ни мур-мур, сидят себе.

Иду я по тундре. Падает снег, тихий, мягкий, большими хлопьями. Навалило его уже до полколена, он мягче ваты, идти трудно. И вижу свежий заячий след, даже снежинки ещё не успели нападать — пробирался косой совсем недавно. С полминуты назад, а может, и того меньше. Именно пробирался, потому что по брюшко утопал, в снегу вмятины от всего тельца, а там, где он прыгал с кочки на кочку и приземлялся, глубокие дыры.

Ну, думаю, братец, где-то ты рядом, попробую пойти за тобой, может, и встретимся. И пошёл рядом со следом. Перед кочковатой впадиной — кочки тут высотою до метра и такие же в ширину — след оборвался. Нету следа.

Как так? Куда же он мог деться? Снег-то свежий, а следа нет. Что же это такое? Не по воздуху же заяц уле-

тел? У него крыльев нету, одни только лапки, да длинные уши, да короткий до безобразия хвост. Ага! Это же он, как говорят охотники, «дал свечу», сиганул метров на пять в снег, зарылся там и пережидает метель. Значит, дружок, ты где-то рядом, где-то под кочкой.

И стал я ходить вокруг оборвавшегося следа. Говорят, что «свечу» он даёт в сторону. Стал раздвигать ногами снег между кочек и под кочками. Обтоптал круг метра в четыре — нету косого. Обтоптал в пять метров, в шесть... В десять метров обтоптал площадку, а его нету. Да что же это такое? Ведь дальше десяти метров от прыгнуть не сможет, будь это даже сам чемпион по прыжкам. Словом, ходил, ходил я — нету косого. Это меня и озадачило, и рассердило. Может, я ошибся, может, он возвратился по старому следу? Хотя знаю, что ошибиться я не мог, след был один и в одну сторону. Но пошёл, проверил. Точно, след один и в одну сторону. Я его не затоптал, шёл рядом, всё правильно. Косая бестия пробирался только в одну сторону, никаких других дыр нет в снегу.

Давай опять по обтоптанному кругу ходить, второй раз шуровать ногами под кочками и между кочек, чтоб ни одного кусочка непроверенного не осталось.

Косого не было.

Стою я и думаю, что он улетел по воздуху. Не иначе. Или надул меня. Но как? Как? Ну, вот как?

Стал свистеть, кричать — нету зайчишки. Может, когда я возвращался проверять след, он улизнул? Снова обошёл весь круг по краю, нету следов. Не-ту-у-у...

Да что же это такое в самом деле! Снял ружьё да как бабахну из обоих стволов — заяц вылетел из-под моих ног и ну удирать...

СОВЫ

Всю осень, до самого снега, он целыми днями сидел на ветке берёзы возле самой зимовьюшки (потом эту ветку заняли снегири) и смотрел на меня — я то крышу



подправлял, то крыльцо ремонтировал, то у костра хлопотал.

Он смотрел жёлтыми немигающими глазами, будто следил за мной. Серьёзный такой, строгий. Это был мохнатый сыч.

Он был рябой: одно пёрышко белое, другое коричневатое. И с появлением снега он не побелел, как куропатки и болотные совы. В тундре я видел болотных сов, они обычно сидели на кочках, и их трудно было отличить он снега — такие они белые.

Днём он был молчаливый, когда наблюдал за мной. Но по ночам... Как же страшно его товарищи кричали по ночам! И он, конечно, кричал вместе со всеми. Они даже не кричали, а плакали навзрыд, протяжно, в народе так и говорят: «Сова рыдает, голосит».

Кто слышит этот плач впервые, может испугаться не на шутку. Слов не найдёшь, чтобы сказать, какой он, этот плач-крик.

А как-то раз меня напугала болотная сова. И не криком напугала...

Шёл я ночью по тундре, с охоты возвращался. А ночь была тёмная... Вдруг чувствую, кто-то вьётся надо мной, за шапку трогает. Я — отмахиваться стволом ружья... Ничего не понимаю. Да и страшновато стало. Выстрелил, и пламя из ствола осветило сову.

Когда я до темноты засиживался у костра, болотные совы тоже прилетали ко мне. Но я уже не боялся, знал, что им, может, поиграть хочется. Вообще-то это они охотятся. Мышей, например, по шуму отыскивают, ну и к человеку подлетают вплотную, чтобы узнать, кто это.

«Играйте себе на здоровье»,— думаю. И сижу спокойно, курю.

СТРАХ

Испугался я в тот раз здорово.

Пошёл я за продуктами, ружьё не взял, чтобы меньше тяжестей было, когда возвращаться буду.

Из посёлка вышел на ночь глядя, часов в девять. Дорога, правда, длинная, сорок три километра надо отмахать, но простая, до мельчайших подробностей знакомая: сначала по берегу лимана, потом по тундре, затем опушкой леса и через заросли тальника и, наконец, поворот к зимовью. Да ещё пять ручьёв надо миновать и две речушки: Сухую и Солёную. Через Солёную — она рядом с посёлком — мостик, по нему даже машины ходят, когда возят молоко из стада, а Сухую можно перейти вброд.

Вот только ночью идти. Но бояться-то некого. Медведь не тронет, лиса с росомахой убегут, а заяц так стрибанёт, лишь уши мелькнут. И я пошёл. Повесил мешки с продуктами спереди и сзади, чтобы удобнее было.

Ночь тёмная, конечно, как и всегда осенью. Сначала на небе хоть изредка в полыньях туч показывалась луна, но потом она пропала. Идти стало трудно, под ногами ничего не видно. А потом и морось посыпалась, мешки потяжелели. Если споткнёшься о кочку, упадёшь в мокрую траву, а то и в лужу. Я поругал себя за столь необдуманный поступок, но возвращаться не стал — дорога подходила к середине.

С каждым часом идти становилось всё труднее, сухари и сахар в мешках набухли — ведь морось, этот тончай-

ший густой дождик, пронизывает до нитки, сильнее, чем ливень. Сыплет и сыплет...

Дотопал наконец до Сухой, стал искать брод. В том месте, где он должен быть, воды оказалось выше откатанных сапог. Ветер с моря нагнал воды в лиман, и в речке вода поднялась.

Положил мешки на берегу, выломал длинную палку и пошёл вверх по речке искать другой брод. И всё ведь на ощупь, темнота такая, что воду не видишь. Если даже наклонишься над ней, она не блестит. Пробираюсь на ощупь под высоченным отвесным берегом, измеряю воду, отфыркиваюсь от мороси.

Вдруг сверху, с обрыва, кто-то как сыпанёт на меня поток камней, глины и песка. Я выхватил нож и упал на колени... Смотрю, что там наверху. Весь взмок от страха, дыхание захлебнулось...

Ну что можно увидеть за несколько метров, когда свою протянутую руку не видишь? Только слышен треск сучьев да шум травы.

Наконец шум удалился и затих. Кого я разбудил ночью и спугнул с лежбища? Зайчик и лиса не могли гребануть столько камней и песка, да они бы и не шумели так, не ломали бы кусты. Может, медведя?

— Может, и медведя,— сказал Михаил Степанович, когда я рассказал ему об этом дорожном происшествии.— А скорее всего, росомаху... Спала себе над обрывчиком.

Как бы там ни было, кого бы я ни разбудил, но лучше уж никого не тревожить в тёмные дождливые ночи.

ЕЩЕ ОДИН СТРАХ

— А я вот один раз испугался так испугался. Думал, умру,— сказал Степаныч.— Пошёл я на свой дальний участок, что возле самых гор. Весна была, апрель. Ну, а места там известные: один тальник да берёзы толщиною в два обхвата. Ясное дело, кривые-прекривые. И кусты да зарос-

ли всякие. Самая что ни на есть глушь, человек ни разу не был в тех местах. Сугробищи высоченные! И дичи, дичи всякой! Чем дальше идёшь, тем ещё больше становится. А дятлов-то, сов да синиц, сорок, ворон — боже ж ты мой! Зайцы, веришь ли, нет ли, прямо дороги протоптали. И соболь стал попадаться. Один совсем близко подпустил, хоть палкой его доставай.

Денёк морозный, всё от солнышка блестит да играет, искры так и рассыпаются. Наст твёрдый, лыжи сами бегут.

Ну вот. Забыл я про всё на свете и иду себе, любуюсь этой благодатью. Вдруг из-под лыж как взорвётся чёрный столб...

Кувыркающийся, орущий, и снегом в меня — я и свалился от страха. Ни жив ни мёртв. Открыл глаза — уходит с криком глухарь к опушке.

Ведь знаю же я, что под снегом у них целые пещеры и проходы, но надо же ему, дьяволу, взлететь из-под лыж, из-под ног! Вот как получилось.

Ну, а если подумать, чем он виноват? Не он же на меня наехал!.. Может, он отдыхал, а я его, наверное, ещё и палкой задел.

НУ ЗАЧЕМ?

«Всякое живое существо боится другого живого существа, и не без основания». Эти слова сказал писатель Иван Алексеевич Бунин.

И мне вспомнилась история про лебедей, которые жили на Ключах. И зимовали там.

Ключи — благодатное место. Растительность там буйная и неуёмная. Даже папоротники в два человеческих роста, а стебли их — толщиной в руку. А уж кусты да деревья — и говорить нечего.

Одно время там жил любитель природы, который выращивал огурцы и клубнику зимой. В горячих источниках, что бьют из-под земли, можно варить картошку:



завернул в марлечку и держи в бурлящем источнике. Яйца — само собой. Чай заваривается сразу же.

Когда колхоз построил на Ключах дом отдыха для рыбаков, бассейн и пионерский лагерь, лебеди не испугались появления людей. Они спокойно, как и раньше, плавали в своих, может, миллионы лет уже обжитых озёрах и озерцах. Не обращали ни на что внимания.

Дикий лебедь намного красивее зоопарковского или паркового, плавающего в мутной воде, разжиревшего от безделья и подачек.

Дикий лебедь изящен. Столько в нём красоты, плавности, достоинства... Каждое его движение, потягивание или даже шевеление крылом — воплощение чего-то необычного, что очень редко встречается в жизни — ну, например, отзвук гениальной мелодии или мерцание далёкой звезды в майскую ночь,— что нельзя понять разумом, а можно лишь почувствовать душой или сердцем. Это состояние нахлынет на тебя, когда смотришь на дикого лебедя... Так и колыхнётся в тебе тёплая и сладкая волна...

К необыкновенному изяществу добавляется ещё и строгость.

Местные жители, коряки, зовут лебедей «стихами».

И однажды кто-то убил лебедей. Те, что остались без пары, умирали на глазах.

Лебеди умирают страшно. Они умирают молча.

Видимо, кто-то из приезжих, из той праздной публики, что мотается по земле в поисках экзотики и лёгкой наживы, сделал это чёрное дело. Наши, местные? Вряд ли! Наши любят свою Камчатку, да и лебедь для них не в диковину. Впрочем, грешить на кого-либо трудно, это могли сделать и наши — злодеев везде хватает.

И стихи ушли с Ключей.

Долгие годы они не жили там. Но инстинкт, тоска по родине взяли своё: стихи вернулись...

СПАСЕНИЕ

И ещё один случай мне вспомнился в связи с мыслью Бунина.

Этот случай я наблюдал в море.

Известно, что касатки нападают на китов. Они рвут их губы, язык, отгрызают плавники.

Спасаясь от касаток, кит часто выбрасывается на берег.

Несколько лет назад работал я на океанском траулере. Рыбачили мы в Аляскинском заливе. Вдруг видим мечущихся с криком чаек. Потом показался кит. Он был небольшой, возможно китёнок. За ним тянулась кровавая полоса. А вокруг него вот эти режущие воду «косы».

Китёнок шёл прямо к нашему траулеру. Подплыл и прижался к борту. А эти бестии рядом носятся, хотят поднырнуть под китёнка, но не могут: борт океанского траулера на восемь метров уходит в воду. Китёнок прижался к борту и затих. А касатки носятся... Матросы стали кидать в них клёпкой, досками. Кто-то из ружья выстрелил.

Мы попросили капитана, чтобы он сбавил ход и не менял курс судна.

Долго ещё касатки шли за нами...

И ОТКУДА ОНИ УЗНАЛИ?

И опять мне вспомнилась фраза Бунина.

Несколько лет назад работал я капитаном вспомогательного судна «Панкара». Возвратился с весенней сессии из литинститута, все сейнеры в море, на промысле. Мне предложили «Панкару», большую самоходную баржу, для хозяйственных нужд колхоза очень удобную — отвезти на промысел судам снабжение, трактора или косилки доставить колхозникам, которые косят на острове. И машина сильная, и трюм большой.

Осенью, когда охота на морского зверя была уже разрешена (вообще-то на нерп промысел у нас ранней весной — со льда их берут, с воды брать трудно), подходит ко мне охотник, показывает лицензии на отстрел двух нерп и говорит:

— Слушай, высади-ка меня на Русак. Двух нерпушек надо добыть. Зимой собираюсь охотиться на соболя, а обивка на лыжах совсем потёрлась. Ты же мимо плаваешь.

Ну что ж! Курсы мои в те дни проходили вдоль берега. Я тогда переселял колхоз — перевозил дома, склады, трактора и машины.

А Русак — это речка. Там, где она впадает в море, большая песчаная коса, а на ней лежбище нерп.

Подвёз я его к этому нерпичьему «пляжу». Их там была тьма. Когда издали смотришь, кажется, будто семечки насыпаны. Увидев судно, они сразу же бросились в воду, плавают вокруг судна. Близко-близко... Но с воды их не возьмёшь: выстрелишь, и они мгновенно тонут.

— Сколько же их тут! — радовался мой знакомый.— Приходи через денёк.

Прихожу за моим охотником на другой день, он сердитый-пресердитый.

— И откуда они узнали, что я на косе нахожусь? За целые сутки ни одна на берег не вылезла! А ведь я в яме сидел, не видно меня!

Сердился, сердился, разводил руками, а под конец говорит:

— Дай мне ещё продуктов, досок, лопату, топор, пилу, гвоздей. Сделаю окоп, замаскируюсь... Никуда не денутся! Приходи через пару дней...

Прихожу за ним через два дня, результат тот же, а мой охотник сам не свой.

— Ну откуда они узнали, что я на косе нахожусь? Ведь даже партизаны моей маскировке позавидовали бы! Ни с неба, ни с воды меня не видно... И ни одна не вылезла за двое суток. Плавают вокруг косы, а на берег — ни-ни...

А ведь и в самом деле, откуда они узнали, что на их местожительстве чужой кто-то? Биотоки? Магнитные волны? Или ещё какая связь, что передаётся по земле или по воздуху, и нам, людям, недоступна?

Так мой охотник и остался без лыж.

АКУЛЫ

Или вот акулы тоже. Ну то, что они чуют кровь, это понятно: видимо, кровь в воде имеет запах и вкус. И чуют они её за несколько километров.

Любопытные картины приходилось мне наблюдать, когда я работал в Южной Атлантике — селёдку мы там ловили. Попадались нам «калянусная» селёдка, только что набившая брюшко калянусом, рачком таким маленьким. Солить её нельзя, от этого рачка у неё лопается брюшко, приходится её шаерить — отсекать голову вместе с желудком. Всё это — голова, желудочек с внутренностями — выбрасывается за борт. С кровью, конечно. И тут появляются акулы, несметное количество акул. Всё море вокруг

траулера жёлтое — у акулы рот находится на брюхе, и для того чтобы ей проглотить то, что плавает на поверхности,— а селёдочные головы плавают у самой поверхности,— ей приходится переворачиваться, и белое брюхо сквозь призму синей воды видится жёлтым.

Ну, это они на кровь сбегаются. А вот как они узнают, когда рыбаки поймают рыбу? Если в сетях или в трале рыбы нет, ни одной акулы не увидишь. Но только зашла рыба в невод, и вот они тут как тут, режут поверхность парными плавниками — когда акула плывёт на маленькой глубине, у неё выступают два плавника: спинной и верхняя половина хвостового. У других рыб этого нет. По расстоянию между этими плавниками можно узнать, какой величины акула.

Вот ведь как — за несколько километров рыбу чуют. Кстати, хлопот они много доставляют рыбакам: запутываются в сетях, а это лишняя работа, когда сети выбираешь за борт. Да и рыбы много пожирают, иногда в сетке одни головы остаются. Из трала же акулы прямо рвут рыбу, уже и на борт трал берёшь, а они хлопочут возле кутца.

Вот такие они...

НАШЕСТВИЕ

Джеламан, наш капитан, возмущался:

— Ведь откуда пришли? С самого севера. Ведь за сотни миль...

В этом году нашему колхозу разрешили поставить пробный ставной невод на селёдку в Олюторском заливе. Олюторский залив считается одним из самых богатых нерестилищ сельди. Весной селёдка приходит сюда метать икру и молоки, а осенью, до самого ухода на глубину, на зимнюю спячку, она здесь отдыхает, нагуливает жир.

С тех пор как запасы сельди в Мировом океане замет-



но уменьшились, не стало её и в Олюторке. Промысел на неё закрыли. Учёные из года в год предсказывают сроки, когда запасы её восстановятся, но подходят эти сроки, а прогнозы не оправдываются. И для проверки запасов колхозу разрешили поставить один пробный ставной невод. Сейнером или траулером сельдь не наловишь, сейчас её очень мало.

Поставить невод доверили Джеламану, как самому опытному рыбаку. За две недели наловили сельди много, ждали плавбазу, чтобы вывезти её с невода. И тут нахлынула тьма моржей — Джеламан так и говорил, что именно «тьма»,— и они не только невод своротили и изорвали, а рыбу выпустили, и она ушла. Моржей на Камчатке нет, они водятся на севере, на островах. Это далековато от Олюторского залива, сотни миль.

— Как они учуяли, что у меня рыба? — возмущался Джеламан.— Так и не дали порыбачить, заступники...

Что ж! Не праздную прогулку, не развлекательное путешествие они совершили...

КРАСНАЯ ТРЕСКА

Вот тоже необычное явление природы... Вообще говоря, в природе встречается очень много чудес, настоящих чудес.

Однажды мы поймали красную треску. Целый косяк. Одни из рыбин были розовые, другие красные и ярко-красные, даже тёмно-красные, почти фиолетовые. Были и просто жёлтые. Почему? Откуда они взялись такие?

Как правило, рыбы окрашены под цвет среды. Те, что на поверхности живут — треска, минтай, селёдка, пикша, иваси, акула,— обычно серо-синего цвета, как вода. Бывают, правда, небольшие отклонения. Ну, например, скумбрия. Она имеет зеленоватый оттенок, потому что живёт в тех морях, где вода имеет этот оттенок. А донные рыбы... Боже мой! Какой здесь простор для наблюдений и раздумий! Диву даёшься, как разнообразно они окрашены. Причём одна и та же порода рыб. Вот, например, бычок. Окрасок сорок имеет. Окраска в зависимости от грунта: красная, синяя, зелёная, рябая... серо-буро-малиновая. При этом один рогатый, как олень, потому что живёт среди похожих на оленьи рога кораллов, другой без рогов и весь в круглых пятнышках самых разных цветов — живёт среди цветных камешков. Даже камбала бывает с чёрной спиной и с совершенно светлой — она лежит на дне, а там есть и белый песок, и чёрный ил. А рыба-сабля! Да она плавает среди водорослей, похожих на саблю. Морской скат оттого такой страшный, что прячется на грунте за уродливые чёрные камни. А рыба-прилипала зачем прилипает к большим рыбам? Для того, чтобы кататься на них и собирать пищу,— неплохо устроилась. Летающие рыбки то и дело взлетают в воздух — так они удирают от врагов.

Треска живёт на поверхности моря. Но ныряет на небольшие глубины в поисках еды, и цвет у неё испокон веков светло-серо-синий. А тут... красная. Почему?

ПОЧЕМУ У КОРОЛЕВСКОГО КРАБА ПРАВАЯ КЛЕШНЯ БОЛЬШЕ ЛЕВОЙ

У королевского краба-самца правая клешня намного больше левой, у самки обе клешни одинаковые. Когда смотришь на краба-самца издали, то кажется, что у него два туловища: одно из них, что поменьше,— правая клешня. Сила у этой клешни — страшная. Если краб вцепится в невод, отцепить его невозможно, приходится дробить молотком или специальной колотушкой. Так и делают рыбаки, очищая невод.

Рыбаки, раздумывая над этой загадкой природы, считают, что правая клешня у краба — «боевая», для драки.

А вот что рассказали нам водолазы.

— Однажды на промысле мы намотали на винт якорь-цепь от навигационного буя. Своими силами исправить эту аварию не можем: вызвали аварийный спасатель. Они не стали рубить цепь возле винта, где она намоталась, а надели водолазные костюмы, полезли на морское дно, к мёртвому якорю. Цепь уже освободилась, мы её подняли



на борт, а водолазов что-то долго нет. В чём дело? Наконец поднимаются, кидают на палубу несколько королевских крабов.

И рассказали водолазы о том, что видели на морском дне. Там королевские крабы шли на свои нерестилища с мест кормёжки — август как раз был. Крабы шли парами, впереди самец, а за ним самочка.

Крабы движутся боком, клешни у них ходят и сгибаются вверх и вниз, а не вперёд и назад, поэтому они передвигаются только боком. Могучей клешнёй самец сечёт всё, что попадается на пути: водоросли так водоросли, кораллы так кораллы, камни так камни двигает. Ну и защищается от врагов, и самочку защищает: она ведь с икрой, тяжёлая, еле движется... А он впереди со своей страшной клешнёй...

Вообще-то правая мощная клешня ещё потому мощнее левой, что ею он дробит добычу, ракушки раскалывает, например, или рвёт панцири морских звёзд, а левой, маленькой, достаёт кусочки мяса.

БОЛЬШИЕ РЫБЫ ХОДЯТ ПАРАМИ

Большие рыбы во время нереста ходят парами. Вот, например, рыба чавыча. Это редкостная рыба, из породы лососёвых. Среди них, да и вообще среди красной рыбы, чавыча считается царь-рыбой. И вот что любопытно. Живёт она, как и всякая лосось, четыре года, но в первые два года вырастает всего лишь на пятнадцать сантиметров, а в оставшиеся два становится огромной, весом доходит до шестидесяти пяти килограммов.

Цари-рыбы спокойные, величавые, могучие. И красивые — прямо залюбуешься: обводы тела выполнены прекрасно. Ведь не все рыбы соразмерно сложены: та слишком плоская, эта слишком длинная. У бычка, например, голова больше туловища, электрический скат или рыба-собака вообще уродливы. Да хоть та же камбала — ведь лепёшка. А на акулью морду и смотреть не хочется... А эта?

Мордочка у неё круглая, лобик и спинка темноватые, бока иссиня-серебристые, а брюшко розовое, к хвосту фиолетовое. Великие рыбы.

Вот они идут парами, самка на треть корпуса позади самца, повторяет каждое его движение. Доверчиво и согласованно. Сразу видно, что у них большая дружба, а он, красавец богатырь, идёт плавно, в каждом движении достоинство, красота и сила...

НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ

А вот чайки-мартыны. Впрочем, их и чайками-то никто не зовёт, а просто «мартын» или ещё чище — «глупыш». Да они и в море-то почти не живут, чаще всего обитают возле рыбзаводов, где на морской берег толстые шланги выбрасывают рыбьи потроха, хвосты и плавники. А когда на нерест идёт лосось, в тундре толпятся, в речушках да ручьях ловят горбушу.

И поведение их пресквернейшее — они дерутся из-за еды. Отнимают её друг у друга. Как сцепятся в воздухе орущим клубком из-за рыбины, аж пух летит. Рыбина, из-за которой война идёт, обычно шлёпается в воду и никому не достаётся. Иногда её подхватит мартын, что поджидает в сторонке, и, горбясь, старается утащить подальше. За ним вдогонку кидается орущая свора его товарищей. А как он, бедолага, старается проглотить рыбину на лету: и горбится, и спешит, и в сторону виляет... Но это ему почти никогда не удаётся.

То ли дело морские голуби. Или даже гагары. Никто добычу изо рта не рвёт. Даже если она рядом лежит, никто не возьмёт. Порядочный народ. А топорики, ныряя за рыбкой, будто вежливо кланяются и говорят друг другу: «Пожалуйста, вот вкусненькая рыбка, попробуйте и вы». И всё-то мирно, всё-то хорошо у них. Смотреть любо-дорого.

А эти? Ведь берег иногда завален рыбьими потрохами, несметное количество печёнок да молок всяких и даже долек икры, а они всё равно дерутся, никак без ссоры не могут. Ну куда это годится? И отчего у них такой характер? Такая жадность? Может, от подачек?..

РАЗБОЙНИЦА

А вот это уж разбойница так разбойница — нету во всей тундре ни одного такого ужасного зверя. Я говорю «ужасного», потому что другого слова не нахожу.

Она грабит всё. Не только жилища зверей и птиц, но и охотничьи зимовья. Грабить — это, конечно, отвратительно. И тем не менее хоть малюсенькое, хоть крошечное оправдание этому скверному делу есть. Ну для наживы стащить — хотя какое тут может быть оправдание! — или



чтобы утолить голод. А эта ведь грабит и уничтожает всё жестоко и бессмысленно. Заберётся в охотничье зимовье, наестся, напьётся, и этого бы, казалось, достаточно — так нет же! Напилась, наелась, а теперь давай уничтожать всё, что у неё перед глазами. Не только продукты, но и одежду, посуду, бельё.

Не оставляет она в покое и охотничью добычу. Зорко следит за охотниками. Когда охотники осенью начинают отстрел дикого оленя, то возле убитых туш они оставляют сторожа, ибо эта деятельница разорвёт, растерзает всех оленей, сколько бы их ни было, хоть пять, хоть двадцать пять. И без всякой цели...

А что она натворила в моём зимовье, когда я уходил в посёлок! Влезла в окно, разодрала постель, одежду и кукуль — спальный мешок из оленьих шкур. Разгромила, разбросала... Даже не оставила в покое марлевый полог, которым я завешивал постель от комаров. Ну зачем ей понадобилось марлевую тряпку терзать? Кстати, по дырочкам от когтей — если в марле проткнёшь дырочку, то она не затягивается, как на других тканях,— я и догадался, что это она в гости приходила.

Когда увидел разгром в избушке, сначала подумал, что это медведь тут наломал да напереворачивал всё. Потом мелькнула мысль, что медведь такого не сделает. Что он, ненормальный? Присмотрелся — её следы в марле, от когтей...

В ручейке у меня стояли стеклянные банки со сливочным маслом и жиром. Я их на две трети ставил в воду и прикрывал фанерками. Получалось как в холодильнике. И вдруг банки исчезли. И только через несколько дней я случайно на них наткнулся: они валялись в кустах, метрах в десяти от избы. А то место, где они валялись, было вытоптано до самой земли. Большая площадка. Это ведь она масло съела, а стеклянные банки прокусить да раздавить не могла и бесилась от злости, терзала их, старалась уничтожить.

Вот какая она, эта росомаха.

МАРТЫШКИ

А вот мартышки, маленькие тундровые чайки, самые симпатичные и милые существа в тундре. Ну прежде всего внешний вид: изящные, чистенькие. И всегда весёлые. Величиной побольше ласточки будут, головка и кончики крыльев чёрные, спинка серая, а грудка и живот ярко-белые, как праздничная рубашка. Хвост рогатулькой и тоже чёрный.

Смотришь на них, как они весёлой дружной стайкой играют над тундрой, и самому хорошо становится.

Кувыркаются и кувыркаются в светлом воздухе, поют и поют, играют и играют...

А вообще-то, если внимательно присмотреться, комариков ловят... Приятное с полезным сочетают.

ЗАБРОШЕННЫЙ ПОСЁЛОК

Захотелось мне посмотреть старые места, бывший посёлок Уку, который десять лет назад перевозил я на своей «Панкаре», когда было объединение колхозов.

Всякого, видно, человека тянет к своему прошлому, к прежним волнениям и радостям, которые со временем становятся даже как-то значительнее. Да и в самом деле, ведь это мой труд, мои хлопоты, мои волнения. Труд, который на море всегда полон неожиданностей, чаще всего неприятных. Но даже и самые неприятные из них, например штормы и аварии, становятся со временем дорогими воспоминаниями.

...Когда я перевозил в то хлопотное лето коров, нас штормом на берег выкинуло. Машина работает на полный ход, отданы оба якоря, а судно бураном и волной тащит на берег. Коровы ревут. Их надо хоть в воду высадить, чтобы они уцелели, когда судно кинет на берег. Но если корова упрётся — ничего с ней не поделаешь. Не прыгает в воду — и всё тут.

Наконец всё-таки справились.

Между прочим, характер у коров оказался на редкость флегматичным. Только кинуло её волной на береговой песок, она встала, отряхнулась и как ни в чём не бывало, будто и не было у неё никаких волнений, смотрит своими привычно-грустными глазами, как колотит наше бедное судёнышко, и никаких чувств не выражает.

А один раз я свою «Панкару» на мель посадил. История печальная. Хорошо ещё, что всё кончилось благополучно.

Только нагрузился я в посёлке колхозным скарбом — тракторами, машинами,— механики уже и машину прогрели, уже и концы начали отдавать, как подходят геологи. Им в Ивашку надо, куда я иду с грузом. Ну что ж! Дело житейское, садитесь.

Курс проходил мимо Ничикинского мыса, о котором ходят легенды. Там (это как будто единственное место на Камчатке) из земли бьёт настоящий нарзан. И геологам захотелось посмотреть на это чудо природы, хотя геологов, в общем-то, редко чем удивишь. Возможно, я и не согласился бы на такое праздное мероприятие, но среди геологов были женщины. Я же считаю, что людям грех не помочь, если это в пределах возможного. Свернул я с курса, поехали смотреть нарзаны.

И при подходе моя «Панкара» села на мель. Подход туда сложный, кругом камни, да ещё туманчик был. Сидим прочно — ни вперёд, ни назад. Хорошо ещё, что сели на подводную вулканическую плиту, что плита плоская. А если бы острые камни? Если бы они продырявили днище судна? Что тогда? Спасайся, кто может? Словом, туманчик спал, проглянуло солнышко, сидим на мели, загораем. В колхоз докладываю, что машину застопорило, иду на одном двигателе. Капитан флота из себя выходит.

Сошли с камней на другой день, при полной воде. Повреждений не было... Вот вам и нарзаны!

А был случай, когда я винт терял прямо в бухте. Хлопот-то сколько было!

Сейчас же у меня выдалась возможность побродить по тем местам, где я работал, сходить в посёлок Уку, посмотреть, что там осталось от него,— мы зашли в устье речки взять пресной воды и простоим до вечера.

Иду берегом устья. Река, прежде чем впасть в море, разлилась большущим лиманом, намыла косу. Всё знакомо, каждый мысок и каждый кустик на берегу. Вот побелевшие останки вросших в песок кунгасов — здесь был когда-то колхозный рыбный стан; вот место, где хранилась солярка для катеров,— теперь там только пустые ржавые бочки. А вот мысок, с которого хорошо заводить невод. На этой косе по отливу можно собирать крабов. И мостик через ручеёк даже уцелел.

А вот и сам посёлок. Вернее, то, что осталось от него: бетонные стены колхозного склада, бывший засольный цех, рядом с ним икорный. Вот стены колхозной конторы...

Брожу среди развалин человеческого жилья, вспоминаю людей, кто где жил, у кого какая была семья,— ведь



всех их, их дома, весь домашний скарб, вплоть до чайников и подушек, я помогал грузить и размещать на судне. А травища-то на огородах! Особенно у белых кольев изгородей.

А вот уцелевший домик, он на самом краю посёлка. В нём жил Володя-механизатор, колхозный тракторист-бульдозерист, мастер на все руки. Умница, весёлый и очень добрый человек. Мы дружили с ним. Володя свой дом перевозить не стал, он вскоре уехал с Камчатки, ребёнок у него болел. Дом его остался нетронутым, и время пощадило его: даже дверь была на месте и крыша сохранилась.

Открываю дверь. Она скрипуче пропела, и из петель навесов посыпалась ржавчина...

И только я через порог, как в окна, ломая крылья, толкаясь и крича, поднимая пух и пыль, теряя перья, ринулась стая сорок.

Ба-а-а! Вся хата в сорочиных гнёздах. И по лавкам, и по углам. А на печи их целых пять штук...

ЗА ДОБРО—ДОБРОМ

— Природа...— задумчиво сказал Михаил Степанович. — Относись к ней хорошо, и она тебе тем же отплатит. Взять хоть животных, хоть растения. Ну вот, к примеру, медведь. Ведь он никого не трогает, своих дел у него хватает. А отзывчивый какой на добро и ласку! Один раз подобрал я малышика в тундре. Охотники, видно, мать убили, а он, может, убежал, может, забыли про него... В общем, он за мною увязался. Маленький совсем, голова больше туловища. Принёс домой. Жил он у нас, подрастал. Конечно, когда совсем маленький был, хлопот много с ним, особенно жене моей доставалось... Через полгода уже понимать всё начал, да такой послушный и понимающий стал. Скажем, что это нельзя трогать,— не трогает. На другой год, когда вырос, по воле заскучал. Уйдёт в лес да в тундру на неделю или на две, потом

приходит. Поживёт — и опять на природу. Потом не вернулся — подругу, видно, нашёл, не до нас стало. А маленький когда был, петух клюнет его в нос — ковыляет, скулит, сунет голову под мой пиджак и думает, что спрятался. Да и большой когда был, ни на шаг от меня не отходил. А с женой моей они прямо неразлучные были. Она картошку копает, он рядом с ботвою возится... Да что там говорить! Всякая, видно, тварь тепло да ласку любит... Вон хоть мой Валет, ведь он не только с тапочками ждёт меня, когда я проснусь, но и спички подаёт, возьмись я за папиросу. А посади его на цепь да начни колотить, что с ним будет?

И вот что я вспомнил, слушая Михаила Степановича.

Рыбачили мы как-то. Треску и камбалу ловили. Потом пошла лосось. И мы решили наловить для камбуза, на обед. Подошли к берегу, к устью речушки Чажма, она небольшая, в неё на судне не войдёшь. Стали на якорь, спустили шлюпку, погребли.

Вошли в устье, поднимаемся по речке вверх, присматриваем местечко, где бы пристать. Видим, на берегу строения, домики. И только хотели подойти к берегу, как от домиков валит стая собак. Штук двадцать. Все одной масти — наверное, от одной матери. Несутся к нам с лаем, да так быстро, что спины волнами выгибаются. Мы испугались, к берегу не подходим. А они визжат, прыгают, прямо бесятся от нетерпения... Из домика показался человек, подошёл к нам, сказал, чтобы мы не боялись, что это они от радости так прыгают.

Сошли на берег. Бегут они рядом с нами, носятся туда-сюда. Прыгнет на тебя, лизнёт в плечо или даже в щёку и покатилась по траве с радостным визгом. Прямо смеётся, такая довольная. Человек этот оказался сторожем.

— Колхоз лечебницу строит, — сказал сторож. — Горячие источники здесь. А сейчас путина лосося, все заняты. Один я. И собаки вот со мной.

Я стал бродить по посёлку. Природа вокруг, как возле всяких горячих ключей, роскошнейшая.

Вошёл в один домик, там стоят бочки с олениной, медвежатиной и рыбой. В другом доме готовится рыба для балыка и юколы. На улице на вешалах она уже вялится. Раздолье тут собакам...

— Всё так, всё так,— согласился Степаныч, когда я ему рассказал об этом.

ЖАВОРОНКИ ПОЮТ

— Да как же нету? — удивился Михаил Степанович. И засмеялся.— У нас, на Камчатке-то? В тундре не был, что ли? Весной-то?

— Весной не приходилось.

— Вон какая штука! А если бы ты знал, что они делают весной, как поют, как они поют!

Это мы завели разговор о жаворонках. Получилось так, что я их просмотрел, хотя и живу на Камчатке. Впрочем, моя работа на море: в путину весною уходишь, когда ещё берег в снегу, возвращаешься глубокой осенью. Ничего удивительного, что я не видел их. Летом, конечно, бывал в тундре, но летом они, как и всякие птицы, заняты гнёздами, птенцами, не до веселья им. А может, просто не обратил внимания.

— Целый день висит он над тундрой и поёт себе, заливается...— продолжает Михаил Степанович.— А день-то весной сам знаешь какой... Песня у него весёлая, от души вся, да так звонко и радостно он её выводит. Весело, будто смеётся. И ты заметь, ведь никто его не трогает: ни лунь, ни сова, ни ястреб, ни орёл. А ведь с воробья величиной. Ну чуть, может, потолще. И неповоротливый какой! На одном месте только и умеет висеть. Висит в солнечном воздухе, забудет про всё и поёт-заливается, смеётся-радуется, и все хищники пролетают мимо и не трогают его.

Скажи ты, как оно в природе устроено.



СВЕТЛОЕ МОРЕ

Мой отпуск, точнее, отгульные дни, что накопились в плаваниях, подходили к концу. Надо было на судно, надо уходить в море, и я покидал зимовьюшку, этот милый и ласковый приют.

Стояла уже зима. Правда, ещё только начало ноября, но зима была уже в полной красе: и лес, и тундру одела в пушистые снега.

С грустью оставлял я зимовьюшку Степаныча, где пережил столько хорошего... И происшествия забавные были, и думы хорошие, и отдых. В последний раз прошёлся по опушке леса, постоял среди зарослей берёзы и тальника, полюбовался рябиной.

К посёлку подходил уже ночью. А ночь-то! Светлая, искристая... Белая от белой искристой тундры ночь. Луна горящая, огромная. Небо светлое.

Рядом с посёлком на самом берегу моря стоит большая сопка. Называется она Колдунья. Зовут её так потому, что она предсказывает погоду: если верхушка её в тумане, то

быть дождю или снегопаду, если чисто, то хорошая погода установится, а если туман опустился к подножию, то ветер поднимется.

Забрался я на эту сопку, на самую вершину её. По одну сторону передо мной лежало синее море, а по другую... По другую — бесконечная белая тундра. Искристая под луной. Все неровности на ней — сопки, сугробы, увалы и откосы — напоминали волны, были похожи на белые искристые валы.

Белое море. Со своими тайнами, печалями и радостями. Сейчас оно всё светилось... Светлое море лежало передо мной.



МОРСКОЙ СЛОВАРИК

Ба́нка — мель.

Бра́шпиль — специальная лебёдка для подъёма якорной цепи и якоря.

Ва́ер — трос, на котором тянется трал.

Ва́нты — крепления мачты по бортам.

Кнехт — железная тумба, на которую крепятся швартовые концы.

Коне́ц — трос, верёвка.

Куна́и — штаны из оленьей шкуры.

Кунга́с — парусное судно для сетевого лова рыбы на Дальнем Востоке.

Лючи́на — прочный щит из досок, служащий для закрывания грузового люка.

Подбо́ра — часть невода.

Тозо́вка — ружьё Тульского оружейного завода.

Трал — сеть, напоминающая гигантский мешок, которая буксируется по грунту и собирает рыбу.

Форште́вень — передняя кромка носа судна.

Яшка — якорь.

СОДЕРЖАНИЕ

Необыкновенный заплыв

Светлое море

К ЧИТАТЕЛЯМ

Отзывы об этой книге просим присылать по адресу: 125047, Москва, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Литературно-художественное издание

Для младшего школьного возраста

Рыжих Николай Прокофьевич

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ЗАПЛЫВ

Ответстаенкый редактор *Н. Е. Дубань*
Художестаекный редактор *М. Д. Суховцева*
Техккческий редактор *Т. П. Тимошина*
Корректоры *В. В. Борисова, Л. В. Савельева*

ИБ № 11046

Сдано в набор 01.03.89. Подписано к печатя 27.09.89. Формат 70×100/16. Бум. офсатная № 1. Шркфт школьный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,0. Усл. кр.-отт. 12,84. Уч.-нзд. л. 7,25. Тираж 100 000 акз. Заказ № 2646. Цена 55 к. Орденоа Трудоаого Красного Знамени к Дружбы иародоа кздательстао «Детская лктература» Государстаенного комктета РСФСР по делам издательств, полиграфин и ккижкой торгоалк. 103720, Москаа, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининсккй ордена Трудоаого Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-леткя СССР Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.






55 к.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»